



“Высокая простота” поэзии Н.М. Карамзина

И. Б. АЛЕКСАНДРОВА,
кандидат филологических наук

Н.М. Карамзина называют основоположником русского сентиментализма, родоначальником “чувствительной поэзии”, поэзии “сердечного воображения”, “поэзии одухотворения природы – натурфилософствования” (Кучеров А. Карамзин и поэты его времени. Л., 1936. С. 48, 439). Он писал в жанре элегии, романса, баллады, песни, “надписи”, эпитафии, эпиграммы, послания, эпистолы; есть у него также анакреонтическая лирика и философская поэзия.

Определяющей чертой его творчества становится “высокая простота”. Поэзия – это “святые гимны”, исполненные “в невинности сердечной”; поэт “на арфе подражал Аккордам божества, и глас сего поэта Всегда был божий глас!” Как и у Ломоносова, поэт Карамзина выступает в роли прорицателя воли *божества*. Связь между человеком и Богом очень тесная: в душе смертного запечатлелся лик Творца, образ Вселенной; человек – это мир, сложный, прекрасный, это Космос в малом преломлении, который несет в себе Божественное Начало. Почувствовать себя – это значит познать Создателя, *отца* своего, считает Карамзин.

Такое представление о личности не было свойственно классицизму, где мир воспринимался как рационально устроенный Универсум, в котором каждое явление занимает определенную ступень иерархической лестницы. Человек природный, естественный оказывался на низшей ступени – ступени “лирической поэзии”. В эстетике сентиментализма личность выходит на первый план, поэзии отводится важная роль – *объяснить* человеку его самого. Это ведет к отказу от жанрово-иерархического принципа, так как и в лирических “безделках”, и в философских стихотворениях отражается человек – его склонности, способность к “приятным” чувствам, к наслаждению жизнью, а также его поиски смысла бытия, стремление установить нравственные критерии поведения.

У Карамзина, как ни у кого другого, виден отход от принципа иерархии жанров, отказ от “чистых” жанровых форм. Жанр песни, к примеру, не относящийся к числу “высоких”, у Карамзина может быть

посвящен прославлению храбрости русских воинов и ритмически воплощен в “белый” стих. Это сознательное устремление поэта к свободе как в жанровом, так и в идейно-тематическом отношении позволило Ю.М. Лотману писать об “эстетике отказов”, как о важной особенности нового, сентиментального направления (Лотман Ю.М. Поэзия Карамзина // Н.М. Карамзин. Полн. собр. стихотворений. Л., 1966. С. 28, 29, 38).

Антитеза “высокое” – “низкое” сохраняется у Карамзина на стилистическом уровне: “высокое”, гражданственное звучание стихотворения создает поэтический слог, насыщенный тропами и поэтическими фигурами: перифразы (“гром войны гремит”, “знамя брани веет”), гиперболы (“где воздух стонет, солнце меркнет, земля дымится и дрожит”), олицетворения (“жизнь бледнеет и трепещет”), аллегорические метафоры (“смерть с улыбкой пожирает Тьмы жертв и кровь их жадно пьет”), эпитеты (“бесчисленных врагов”, “палящей нивы”, “слабых душ”), сравнения (“как столп огня”), обращения (“Туда спеши, о сын России”), восклицания (“Ты ближних... поразил!”).

Меняется и пафос поэтических произведений. Концепция естественного равенства людей, мысль о гармонии, царящей в Природе, в отличие от несправедливо устроенного человеческого общества – идейная основа сентиментализма. Вот почему пейзажная лирика занимает такое важное место в творчестве Карамзина. Природа в его изображении, на первый взгляд, близка идиллическим картинам классицистов:

В полях все травы зеленеют,
И луг цветами весь покрыт...
На ветвях птички воспевают
Хвалу всецелому Творцу;
Любовь их песни соглашает...
 (“Весенняя песнь меланхолика”)

Однако в классицистических стихах не было “печалью отягченно-го” героя, “бродящего уныло по лесам”; отсутствовал и образ природы, игравший роль психологического фона для внутреннего мира личности. У Карамзина этот фон сливается с душевным настроением человека:

Солнечный луч
Снова меня призывает
К радостям дня...
 (“Выздоровление”)

Или контрастен ему:

Везде, везде сияет радость,
Везде веселие одно;
Но я, печалью отягченный,
Брожу уныло по лесам...
 (“Весенняя песнь меланхолика”)

Основанные на предполагаемом соответствии состояния души человека и природы, в поэзии сентименталистов появляются новые поэтические образы, метафоры.

Образ природы-утешительницы возникает в элегии “Весенняя песнь меланхолика”, в “Анакреонтических стихах А.А. Петрову”. Все, что отягчает душу “в миру”, рассеивается на лоне природы-матери:

Когда придет весна моя?
Зима печали удалится,
Рассеется душевный мрак!
(“Весенняя песнь меланхолика”)

Появляются предромантические философские мотивы бренности, быстротечности земного бытия:

Смертный, ах! вянет навеки!
Старец весною
Чувствует хладную зиму
Ветхия жизни.
(“Осень”)

С образом природы у Карамзина тесно связана концепция личности: человек велик духом своим; божество обитает в его сердце. Но это божественное начало в душе человека часто искажается, теряется под влиянием цивилизации. Образ гармоничной Вселенной служит вечным напоминанием, постоянным укором хищному человеческому обществу. Человеку необходимо возвратиться в единую цепь “детей одного отца”, очистить душу от всего наносного и обрести природную сущность, гармоничное и прекрасное начало: “Цепь составьте миллионы, дети одного отца!” (“Песнь мира”).

Показать красоту возвышенной души, чувствительного сердца должна “изящная словесность”:

Источник радости и благ
Открыть в чувствительных душах;
Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотой;
Орудием небесным быть...
(“Послание к Дмитрию”)

Поэзия должна обратить взоры к “золотому веку” человечества, жившего в мире и благоденствии на заре своей юности: “Век Астреин, оживи! С целым миром мы в любви!” (“Песнь мира”).

Назначение поэта, по мнению Карамзина, – играть роль духовного воспитателя людей, ибо совершенствование отдельной личности – это

основа нравственного улучшения общества. Но такое понимание назначения поэзии – изменять сознание людей, обращая их к свету истины, к прекрасному, – представление о поэте как о наставнике, верящем в результативность своего учения, с течением времени сменяется у Карамзина желанием “быть ближним иногда полезным”. Разуверившись в возможности “пременить людей” (“Ах! зло под солнцем бесконечно”), он ограничивается желанием “быть ближним иногда полезным”, провозглашает умеренность (“Чем можно, будем наслаждаться”), добродетельный образ жизни как путь честного человека, отвергающего порочное общество:

Кто малым может быть доволен...

От сердца чистого смеется...

Тот в мире с миром уживется...

(“Послание к Александру Алексеевичу Плещееву”)

Герой Карамзина, в отличие от героя европейского сентиментализма, не “протестант”, но и не “беглец из реального мира”, не “жертва”, в терминах Г.П. Макогоненко. Человек в его поэтическом мире сознательно предпочитает путь умеренности: он не униженный, молящий о милости “бедняк”, а личность, осуществляющая свое право на свободный выбор жизненного пути:

Не тот Герой добра, кто скрылся от порока,

От искушения, измен, ударов рока...

Но тот, кто был всегда примером для людей...

(“Протей, или Несогласие стихотворца”)

Личность, будучи свободной, считает Карамзин, тем не менее рождена для общества, и отказ от света привел бы только к появлению *полумертвой души*. Самая антитеза *век золотой* – цивилизация возможна только при возникновении общества, “града” как символа человеческого общежития, поскольку “о счастья в городах лишь только говорят, Не чувствуя его; в селе об нем молчат, Но с ним проводят век” (“Протей”). И лишь под пером поэта, уставшего от “шума городов”, обретает красоту “век золотой”. На самом деле, это век “лени”, “детства”, “сна”, он “бесславен..., хотя в стихах и славен”.

По мнению поэта, самое главное, что подарило общественное бытие человеку, – это идея братства людей, “терзаемых злой судьбой”, “вкусивших несчастья”, но умеющих поддерживать друг друга в страдании. “Чувствительный” лирический герой, способный сочувствовать, со-страдать, готовый к дружбе, признающий власть любви, занимает главное место в творчестве Карамзина. В нем нет ничего героического, даже стоического, он один из тех, кто живет “по сердцу”, а не “по разуму”. В стихах Карамзина поэзия окончательно обретает свою ли-

рическую родовую форму, так как личностное начало, “голос чувств” становится для него самым важным. Если “в здешнем свете сердце говорит, но истина нема”, то назначение стихотворца – делать “язык сердца” “внятным” и “приятным”.

Взор художника пренебрегает низменным, ищет красоту, а не безобразное. Поэзия становится у Карамзина “цветником чувствительных сердец”, восприимчивых к Прекрасному.

Какие же *цветы* срывает читатель в поэтическом саду Карамзина? Подобно Анакреонту, русский автор “стихами чистыми” умеет “любовь и дружбу прославлять”. Анакреонтические мотивы отразились в стихотворениях “Веселый час” (мотив прославления “радостей жизни”), “Отставка” (мотив непостоянства в любви), “К Лиле” (мотив быстротечности “эротова чувства”), “Непостоянство” (мотив переменчивости жизни).

Эти стихотворения отличаются музыкальностью, использование в большинстве случаев точной рифмы (“радость – младость”, “мудрец – конец”, “забудем – будем”, “нас – час”) усиливает впечатление гармонии. Анакреонтические произведения написаны 4-стопным хореем с пиррихием. Ориентируясь на ритмику французских “песен”, Карамзин использует традиционную 4-строчную строфу с перекрестной рифмовкой. Эпикурейская тематика произведений, их музыкальность, “чистота слога” позволяют говорить о нем как «об одном из родоначальников “легкой поэзии”» (Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. М., 1986. С. 286).

Есть у поэта и “горацянская лирика”. Подобно Горацию, Карамзин прославляет сельскую жизнь на лоне природы:

А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов...
(“Послание к Дмитриеву”)

Но если Гораций призывает хранить спокойствие духа во всех случаях жизни (счастье изменчиво; всех ждет один конец – подземное царство, считал он), то Карамзин, в духе сентиментальной эстетики, предпочитает бесстрастия “чувствительность”: “Чувствительность! Люблю я быть рабом твоим... Свобода ж действие холодности беспечной!” (“Протей”).

В лирике Карамзина звучат и предромантические мотивы. Его стихотворения по своему эмоциональному настрою предвосхищают элегии В.А. Жуковского. Мотив взаимопроникновения, слияния Природы и человека сближает стихотворение “Соловей” Карамзина и элегию Жуковского “Вечер”:

Что в сердце, в душу сладко льется
Среди ночных тишины,
Когда безмолвствует Природа
И звезды голубого свода
Сияют в зеркале ручья?

(“Соловей”)

Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаясь с рекой,
Поток, кустами осененной...

(“Вечер, Элегия”)

Тема воспоминания о прошедшем объединяет “Меланхолию” Карамзина и “Вечер” Жуковского. Настроение “приятного уединения”, когда человек оказывается перед лицом Вселенной и лучше постигает самого себя, мир своей души, находит свое отражение в стихотворениях “Меланхолия” Карамзина и “Славянка” Жуковского:

Безмолвие любя, ты слушаешь унылый
Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей...
В уединении ты более с собой...

(“Меланхолия”)

Я на берегу один... окрестность вся молчит...
Душа незримая подымлет голос свой
С моей беседовать душою...

(“Славянка”)

В медитативной философской лирике поэт передает чувство гармонии, духовной связи человека и Природы, легкими штрихами воплощает “нежнейшие переливы” чувства. По наблюдению Г.П. Жуковского, “Карамзин добивается создания... не вещественного материального образа, а определенной лирической тональности”. Это и делает его поэзию субъективной и психологической; основной ее особенностью является “уловление в коротких поэтических формулах тончайших настроений души”. Главной же заслугой автора становится “построение самого понятия лиризма нового эмоционального типа” (Жуковский Г.П. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 517).

Новое понимание лиризма находит отражение в поэтике. Карамзин часто использует в лирическом тексте лексику единой тематической группы. К примеру, в стихотворении “Меланхолия” “словами-сигналами” настроения становятся *скорбь, печаль, тяжкие муки, унылая душа, печальная кротость, тоска, сумерки, безмолвие, унылый шум, уединение, меланхолия, грусть* и пр. “Лирические ассоциации” слов

помогают нарисовать образ Меланхолии – не зрительный, осязаемый, но вызывающий чувство “приятной грусти”, ощущение “нежнейшего перелива от скорби и тоски к утехам наслаждения” (Там же. С. 517).

“Слова для тонких чувств” и поэтические афоризмы Карамзина (“слова – звук пустой”, “голос сердца сердцу внятен”, “любовь питается словами”, “дружба – дар бесценный”, “беспечной юности утеха”, “сердцу скучно одному”) создаются, по его словам, для перевода всего темного в сердцах на ясный язык, который затем появится в произведениях поэтов XIX века, в частности – в ранней лирике А.С. Пушкина.

Столь же важным средством создания настроения становится ритмика стиха. Поэт предпочитает хорей, пишет трехсложными размерами, любит белый стих.

Поэтический полет воображения не должны стеснять ни рамки привычных размеров (отсюда отказ от ямба и разработка хорея, а также трехсложных метров), ни рифма (так появляется белый стих). Карамзин передает свое мимолетное настроение, живое ощущение, требующее мгновенного запечатления в слове, поэтому небрежная рифмовка или даже белый стих становятся способом выразить эту тесную связь поэтической мысли и слова, непосредственность лирического чувства автора, искренность его эмоций. Каждое стихотворение отражает неповторимое, особенное переживание автора. Этому подчинен и поэтический синтаксис: восклицательные предложения и риторические вопросы передают высокую эмоциональность лирической мысли; междометия отражают неясные оттенки чувств.

Характерны пунктуационные особенности Карамзина: часто встречается многоточие – как знак, который отмечает переход от описания или повествования к внутренней речи: монологу-размышлению. Тире становится интонационным знаком для особой смысловой паузы, отделяющей синтаксические конструкции:

Дерзну ль игрою струн моих,
Под шумом гордых волн твоих, –
Их тонкой пеной орошаясь,
Прохладой в сердце освежаясь –
Хвалить красу берегов твоих...

(“Волга”)

Особой интонацией обладает также и восклицательный знак с многоточием: “...Я друга потерял!..” (“Приношение грациям”). Он передает внезапное отчаяние, радость, за которыми следует как бы вынужденное молчание, пауза, дающая возможность автору справиться со своим чувством и спокойно продолжать рассказ. Вопросительный знак с многоточием усиливает риторичность вопроса: “Какая песня возможен славить Ужасность гнева твоего?...” (“Волга”). Пунктуаци-

онные знаки становятся “психологичными”, несущими в себе эмоциональный заряд, создающими определенный лирико-интонационный настрой.

Синтаксическое и пунктуационное оформление поэтической фразы, которая зачастую имеет большой объем из-за использования обращений, однородных и обособленных членов, вставных конструкций, сложных многокомпонентных предложений, должно передавать малейшее движение чувства, отражать непрерывное течение мысли поэта. Так, стихотворение “Волга” содержит фразу в 34 строки, рисующую картины природы и истории (“Дерзну ль игрою струн моих... Как юный мирт в лесу пустынном?”); “Послание к Дмитриеву” – фразу из 14 строк; “Послание к А.А. Плещееву” – фразу в 46 строк!

Однако у Карамзина есть и короткие, в полстроки, фразы: “но, ах! на нем слеза... простите мне ее...” (“Приношение грациям”); “Несчастная!... Кронид вдали Бежал от глаз моих с Людмилой...” (“Раиса”).

Различный объем поэтической фразы делает ее в лирике поэта не рационалистически “украшенной”, как в классицистической поэзии, а психологической, соразмерной чувству, картине, образу, которые возникают и исчезают, сменяя друг друга. Все чаще он обращается к форме баллады, романса – “гишпанской исторической песни”, дружеского послания. Его перу принадлежат и стихотворения, жанр которых близок к элегии (“К соловью”; “Приношение грациям”), синтетическому жанру, выражающему не только любовное чувство, но и нравственно-философские медитации, в которых личность поэта проявляется наиболее полно.

Наверное, лучше всего значение творчества Карамзина оценил П.А. Вяземский: “С ним родилась у нас поэзия чувств, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная”.

Русская эмиграция о Н.В. Гоголе*

В. А. ВОРОПАЕВ,

доктор филологических наук

Филолог Петр Михайлович Бицилли, находившийся с 1924 года в эмиграции, во многих своих работах при анализе художественных произведений XIX века обращается к сочинениям Гоголя. В статье “К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время” (Годишник на Софийския Университет. Историко-филологически факултет. София, 1936. Т. 32. Кн. 5) Бицилли пишет, что Гоголь «обнажил внутреннюю форму комедии масок, каковою в сущности была классическая комедия, продумывая идею человека-маски, “типа”, с его бездушностью, автоматизмом, до конца: его персонажи не имеют никаких внутренних побуждений к действию, а подчиняются единственно внешним стимулам, сами не зная зачем и почему, играя навязанную им роль: Подколесин вовсе не влюблен и играет роль жениха только потому, что на это толкает его Кочкарев, сам не знающий, зачем он взялся за роль классического “наперсника”, устраивающего счастье “любовников”, и Хлестаков по натуре совсем не miles gloriosus (хвастливый воин. – А.В.) и становится самозванцем только потому, что его уже приняли за другое лицо. Комедия масок, являющаяся пародией жизни, становится у Гоголя своей собственной пародией, вскрывающей ее внутреннюю природу» (Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М., 1996. С. 190; далее – только стр.).

Эта идея развита автором в статье “Гоголь и классическая комедия” (Числа. Париж, 1934. № 10). Говоря о “мотиве дороги” и “тоне романтической иронии” в “Мертвых душах”, исследователь замечает, что все герои поэмы – комедийные маски, – «человечен только мысленно сопутствующий Чичикову в его “похождениях” автор». Иллюзию жизни придает произведению и дорога. Тем самым, говорит Бицилли, «художественно оправдывается вмешательство автора, которое иначе в романе ... внешне “реалистическом”... могло бы казаться неуместным» (С. 190–191). Этот прием у Гоголя перенял Чехов в “Степи”: ученый приводит ряд параллелей из “Степи”, “Тараса Бульбы” и “Мертвых душ”. Этой теме посвящена статья Бицилли “Гоголь и Чехов (Проблема классического искусства)” (Современные записки. 1934. № 56).

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 2003. № 2.

В работе Бицилли “К вопросу о внутренней форме романа Достоевского” (Годишник на Софийския Университет. Историко-филологически факултет. 1945/1946. Т. 42. Ч. 15) есть приложение под названием «“Двояшки” и “два” у Достоевского и у Гоголя». Речь идет о “контрастирующих” парах героев: Иван Иванович и Иван Никифорович (их разность Гоголь подчеркивает юмористическими сравнениями, например, лицо первого походило на редьку хвостом вниз, другого — на редьку хвостом вверх), дядя Миняй и дядя Митяй, отец Карп и отец Поликарп, Кифа Мокиевич и Мокий Кифович, Бобчинский и Добчинский. «Стиль каждого подданного художника слова, — пишет Бицилли, — законченная система, где всякая, на первый взгляд, незначительная, “случайная” черточка показательна для уразумения его творческой направленности. Такой мелкой черточкой является у Гоголя частота упоминания о парах тех или иных объектов» (С. 531).

Автор приводит примеры: только “два русских мужика” обратили внимание на бричку Чичикова; гостиница, в которой остановился герой, была из тех, где “за два рубля” в сутки проезжающие получают комнату. Заняв номер, Чичиков заснул “два часа”. И так далее — фыркнул раза два, поглядел на танцующих минуты две... Подобных примеров Бицилли нашел у Гоголя очень много. То же и у Достоевского. “В данном случае, — заключает автор, — конечно, не может быть и речи о влиянии Гоголя на Достоевского. Все дело, несомненно, в их конгениальности” (С. 533).

Статья Бицилли “Проблема человека у Гоголя” (Годишник на Софийския Университет. Историко-филологически факултет. 1948. Т. 44. Ч. 4) начинается с характеристики “средств комической экспрессии” у Гоголя. Приводятся примеры как приемов общеизвестных, так и принадлежащих только Гоголю. Это психологические нелепости, в которые впадают, например, герои “Мертвых душ”, — Коробочка говорит, что подождет продавать души, “авось понаедут купцы, да применюсь к ценам” (словно это такой уж обычный “товар”). “Коробочка идиотка, Собакевич далеко не дурак. Однако, торгуясь с Чичиковым, он поддается такому же соблазну мечты, он говорит о покойниках как о живых людях” (С. 551). В “Ревизоре”, в сцене чтения перехваченного письма Хлестакова, городничий и его супруга, несмотря на то, что тайна разоблачена, упорствуют в своей “мечте”.

У Гоголя каждый персонаж со своим “комплексом” — Бицилли в связи с этим говорит о зависти матери к дочери в “Ревизоре”, о привычке Собакевича ругать всех подряд, знакомых и незнакомых (“мошенник на мошеннике”), о шинели Акакия Акакиевича. “Гоголевский человек словно отказывается от самостоятельного, сознательного восприятия действительности или, вернее, даже не подозревает, что это возможно”. И уточняет: «Мало того, гоголевский человек и видит, в буквальном смысле слова, то, что перед ним, так, как ему ска-

зано видеть... Без толчка извне гоголевский человек в большинстве случаев неспособен действовать... Все гоголевские люди – “мертвые души”» (С. 552–555).

Исследователь замечает, что Гоголь много пишет о вещах (стульях, столах, экипажах, шубах), изображая “ритуал обыденщины”. Часто вещи как бы замещают человека. Люди у Гоголя подчиняются общему поведению. Они не индивидуумы. Иногда даже отдельные части людей подменяют собой человека, – это, например, *нос* майора Ковалева или *усы*: “на дворе усы лежат против самого дома и греются”. В “Женитьбе” невеста отличает женихов по отдельным деталям: губы Никанора Ивановича, нос Ивана Кузьмича. Вещи и люди перемешиваются: “Доктор... имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки”. В “Сорочинской ярмарке”: “Волы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, пряники”. В “Коляске”: “Лавочки; в них всегда можно заметить связку баранок, бабу в красном платке, пуд мыла... дробь... и двух купеческих приказчиков”. Подобные перечисления отмечает автор и в “Мертвых душах”. «Абстрактный антропологизм Гоголя, его стремление понять “человека вообще”, – пишет Бицилли, – не исключает его реалистичности – иначе не был бы он великим художником слова». И заключает: “Ужас от сознания, что человек может пользоваться своими ближними как мертвыми вещами, как предметами потребления, легко мог привести к идее, что такой человек сам – мертвая вещь” (С. 561–562).

Новизна идей и образов Гоголя привела к тому, что при появлении его сочинений возникали споры. Одни говорили, что Гоголь – “реалист”, изобличающий пороки русской действительности; другие утверждали, что он, в сущности, не знал русской жизни, так как никогда не жил в провинции; третьи объявляли Гоголя ограниченным человеком, неспособным понять сложность и глубину человеческой личности: потому-то все его персонажи – автоматы, “мертвые души”. Вывод ученого из подобных суждений таков: «Гоголь, конечно же, гениальный сатирик-реалист, изобразитель русской “обыденщины” своего времени, но вместе с тем и антрополог, терзаемый идеей греховности, душевной пустоты человека вообще» (С. 566).

Вопрос о значении Гоголя для русских писателей, по мнению Бицилли, не прост: «Утверждение Достоевского, что вся русская литература “вышла” из “Шинели”, требует целого ряда ограничений. И вообще вопрос о влиянии Гоголя в целом на русскую литературу столь же сложен, как и вопрос о влиянии какого бы то ни было большого писателя на всех последующих. Уже у величайшего современника Достоевского, Толстого, вряд ли можно констатировать прямые свидетельства гоголевского влияния» (С. 573).

Тема греха у Гоголя занимала и Владимира Ильина, разностороннего ученого-философа, лингвиста, богослова, историка, одного из

ярких представителей русской культуры “серебряного века”. Среди многочисленных эссе этого блестящего стилиста, человека острого ума и богатого воображения, мыслящего самостоятельно и часто парадоксально (он всегда писал без помощи источников и по памяти), выделяется этюд “Достоевский и Гоголь” (Вестник Русского студенческого христианского движения. Париж, 1931. № 3). Ильин начинает с поисков определения, что такое Россия: “загадка”, “сфинкс”; Россия – “все, что угодно, но только не ничтожество”; “не только космос, но и хаос” (Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 60; далее – только стр.). “Свет России отразился на Пушкине, – пишет Ильин, – ес тьма сосредоточилась в Гоголе”. Достоевский “воспринял страшное наследие Гоголя”, но “переплавил и свет Пушкина и тьму Гоголя в до бе ла раскаленном, страстном огне своих трагических откровений” (С. 62).

Гоголь, по Ильину, не преодолел страдания. Достоевский – преодолел. “Страдания – обратная сторона греха... Мировая драма грехопадения, греха, порчи, связанности, одержимости грехом – вот главная тема Гоголя и Достоевского. Зло, понимаемое как грех, – есть христианская философия греха. Поэтому можно сказать, что Гоголь и Достоевский – мученики и оброчники христианской мудрости” (С. 62–63). И далее: «Достоевский, несомненно, одной, очень важной стороной своего существа вышел из Гоголя. И основная тема у них одна: падший и страждующий человек, ставший спиной к Богу или к раю. Только у Гоголя – ужас утраченной свободы, ужас магической завороченности грехом и разложением, что видно в “Вечерах”, в “Миргороде”, в “Мертвых душах”. У Гоголя все статично, все застыло и окаменело... У Достоевского наблюдается другой подход к теме греха... Достоевский преодолевает искушение распада и пессимизма через философию трагедии свободы и трагическую философию свободы» (С. 63).

Затем Ильин размышляет о “катастрофичности” (у каждого по своему) жизни Гоголя и Достоевского. “Кресты” их безмерно тяжки. “Однако Гоголь пал сломленный и раздавленный. Достоевский победил” (С. 64). Оба тяготели к церковной религиозности. Но Гоголь при жизни как бы “горел в черном, ледяном пламени геенны”, “сам себя хоронил”. Способствовал этому отец Матфей. «Нет “Вия” страшнее духовника Гоголя, о. Матвея Ржевского, с его характерным презрением к богословию, философии и искусству» (С. 65, 66). В заключение рассуждений о Гоголе Ильин пишет: «Был, конечно, и свет, как в жизни, так и в творчестве Гоголя – об этом свидетельствуют многие места “Размышлений о Божественной литургии”, “Переписки”, “Арабесок” и др. Но этот свет далеко не играл по силе и значительности роли антитезиса тьмы» (С. 66–67).

Свою статью “День гнева (К юбилею Гоголя)” (Вестник Русского студенческого христианского движения. 1952. № 1) В. Ильин начинает

с краткого обзора доступной ему литературы о Гоголе. “Несмотря на то, что Гоголь великий мыслитель, а художественному гению его буквально нет предела, – пишет он, – до сих пор нет хорошей книги... которая, если не исчерпала... то хотя бы удовлетворительно поставила основные гоголевские вопросы” (С. 14).

Н. Бердяев в книге “Русская идея” ограничился лишь констатацией “загадочности” Гоголя. “Духовный путь Гоголя” К. Мочульского не охватывает всех тем, поставленных жизнью и творчеством писателя. Только две небольшие книжки – “Гоголь и чорт” Д. Мережковского и “Гоголь и Гойя” профессора С. Шамбинаго – касаются сути дела, да и они неоправданно сузили тему. Интересные разделы, посвященные Гоголю, в книгах Г. Флоровского и В. Зеньковского, несоответственно значению писателя малы по размерам. Статьи В. Розанова о Гоголе, блестящие по стилю и оригинальные по мыслям, “в высшей степени субъективны и импрессионистичны” (С. 14–15).

Парадоксальна, но интересна мысль Ильина о том, что в Гоголе соединились все старые и все новые (писатель как бы предугадал их) типы литературно-художественного мышления: романтизм и символизм, а более всего “странная комбинация импрессионизма с сюрреализмом и экзистенциализмом” (С. 15). Гоголь – пророк, напоминающий о “Грядущем со славою судити живым и мертвым” (цитата из православного Символа веры). Ильин согласен с В. Брюсовым, что Гоголь “испепеленный”. Страшное пророчество “сожгло Гоголя вконец”.

Критик говорит о “чуткости” Гоголя к “эротике”, «чарам “вечно-женственного»» (соединенного с “жуткими” образами вроде панночки-ведьмы в “Вие”: «Что это одна из эманаций “Вавилонской блудницы”... сомневаться не приходится»). “Мощь заклятий” панночки ужасна, и, несмотря на фантастичность образа, он написан с “совершенством”, с “изумительной инструментровкой” речей. «В отблесках адского пламени, лежащего на эротику также в “Вечере накануне Ивана Купала” и в других местах творений Гоголя, – пишет Ильин, – становятся понятными загадочные слова древнего киника Антисфена: “Лучше мне сойти с ума, чем испытать наслаждение»» (С. 15, 16).

В самых крупных своих произведениях Гоголь, по Ильину, выражает “большие идеи” в “сниженном виде”. Тема воздаяния в “Страшной мести” (в отличие от “Ревизора”) – “на высоте”. Эта повесть – “настоящее богословское произведение”, аналогичное “Портрету” и объединяющееся вместе с “Вием” в “некую трилогию сатаны и ада”; “Выясняется также, что не Бог создал ад, но что ад есть сложная комбинация того, что можно назвать логикой греха” (С. 16). В “Портрете” указан “выход из ада”: “благословенный уход из мира” (С. 16, 17). Гоголь показывает, что “единственный путь к созданию подлинной красоты – это прославление Бога и Его святых”.

Сожжение второго тома “Мертвых душ” Ильин считает равным подвигу Авраама, поднявшего по призыву Бога нож на своего сына. Костер, в котором сгорел второй том, “сжег жизнь” писателя. “Из пепла этого костра возникла такая простая и так трудно добываемая идея: на первом месте должны стоять заботы о спасении души для вечного блаженства” (С. 17). Вслед за Л. Толстым Ильин сравнивает Гоголя с Паскалем, отречьшимся ради спасения души от своего научного, математического дара.

Гоголю посвящена третья глава книги В. Ильина “Арфа Давида. Религиозно-философские мотивы русской литературы”. Т. I. Проза. (Сан-Франциско, 1980). В ней он спорит с “прогрессистами”, которых в Гоголе интересовал только “реализм”. Вспомнив книгу Шамбинаго “Гоголь и Гойя”, Ильин много рассуждает о сходстве творчества писателя и художника. У обоих – “маски-хари”, уродство, одна из самых страшных харь – Плюшкин в “Мертвых душах”: “образ богомерзкой, бесовской старости” (С. 74).

Критик упоминает о “недостатках” письма Гоголя (оговариваясь, что они “составили бы достоинство любого другого писателя поменьше”), например, – обилие “риторических периодов”, преувеличений, гипербол (С. 76, 77). По мысли Ильина, “творчество Гоголя, как и все дальнейшее творчество русских прозаиков и романистов, имеет два аспекта”. Первый – “это собственно художественная проза как таковая, явленные ею образы и картины”, другой аспект – “миросозерцательный, метафизический, философский” (С. 78).

В повести “Портрет”, считает Ильин, “сосредоточена вся философия искусства” писателя (С. 79). У Гоголя был “ужас” перед “собственным творческим гением, испутившим из себя столько темного и мрачного, уродливого и невыносимо гнетущего” (С. 82). “Вий”, “Страшная месть” и “Портрет” – “тот страшный треножник, на котором Гоголь утвердил свой, созданный им, но внушенный свыше посланным им даром, образ ада” (С. 91).

Следующий раздел в “Арфе Давида” – статья «“Мертвые души” Гоголя и проблема греха» (ранее печаталась в журнале “Возрождение”. Париж. 1962. № 132). По Ильину, основная тема Гоголя – демонология и амартология (учение о грехе). Он говорит о “глубочайшем символизме” “Мертвых душ” – произведении, стоящем в русской литературе “совершенно особняком”. Это действительно поэма, а не роман, так как здесь нет любовных коллизий. Если не считать влюбленности одной дамы в “толстый бумажник Чичикова, искушавший его толстую наружность, решительно не нравившуюся дамам” (С. 94, 95). Чичиков есть «общая формула “цивилизованного человека”» (С. 96).

“Мертвые души”, считает Ильин, – “гениальная неудача”, не имеющая финала. В них есть несколько эпизодов – “вполне удачных, законченных, законченных” (С. 97). К разговору о “грехе” – автор при-

водит историю ухаживания Чичикова за дочерью старого понытчика, и когда, получив через него место, герой перестал быть женихом, то понытчик “произносил себе под нос” при встрече с ним: “Надул, надул чертов сын!” – “Здесь это слово совсем звучит и не тщетно и вовсе не бранно. Здесь Гоголь констатирует факт. Чичиков действительно и в буквальном смысле этого слова есть чертов сын” (С. 103).

Тема “Гоголь и черт” нашла отражение и в статье Георгия Мейера “Трудный путь (Место Гоголя в метафизике российской литературы)” (Возрождение. 1952. № 19), написанной к столетию со дня смерти писателя; в ней суммируются представления о творчестве и личности Гоголя, содержащиеся в работах И. Анненского, Д. Мережковского, В. Брюсова, В. Розанова. Обильно цитируются соответствующие места повести “Портрет” и особенно “Мертвые души”, где Мейер прямо отождествляет Чичикова с чертом – “истинным героем” всех без исключения художественных произведений Гоголя (С. 160).

Впрочем, и другие персонажи поэмы, созданные писателем, – не люди, а какие-то inferнальные, управляемые нечистой силой “чудища”, которых в конце концов испугался он сам: “Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся”. В этом признании, считает Мейер, Гоголь определил “тайное значение собственного творчества”, его скрытый ото всех смысл. Комментируя слова великого сатирика, критик замечает: “Эффект их появления на Божий свет из черных провалов гоголевской души, иллюзия их подлинного земного существования получились потрясающими” (С. 162). Мейер называет персонажей “Мертвых душ” “злыми символами”, а стиль и текст поэмы – “злым живописанием” (С. 163).

Писатель совершил роковую духовную ошибку: “Начав с высмеивания наших грехов, Гоголь скоро перестал отличать живого человека от его порока и порок от того, кто его сеет и выращивает в нас. Чорт разыграл свое дело чисто и пресек-таки художеству Гоголя все пути к искуплению и спасению” (С. 167). Созданные им “страшилища” уничтожили своего создателя: “Погрузив нас во тьму, Гоголь так и не дал нам нового рождения” (С. 168). Более того: “Творчество Гоголя обнаружило и явило нам духовную смерть российской нации” (С. 169). “В творчестве Гоголя чадила, сжигаемая слезами и смехом, неодушевленная плоть, и дух самого автора неприкаянным призраком витал над пожарищем” (С. 173). Писатель, заключает Мейер, “не выдержал, да как художник и не мог, при своем внутреннем строе, выдержать возложенной на него миссии – единоробства с виновником вселенского зла” (С. 175).



Звучащая проза М.Е. Салтыкова-Щедрина

Б.И. МАТВЕЕВ

Продолжая традиции Фонвизина, Грибоедова и Гоголя, Салтыков-Щедрин, как правило, наделяет своих персонажей значимыми фамилиями для разоблачения и осмеяния. Высшие чины губернской и столичной бюрократии, как и представители нарождающейся буржуазии, носят фамилии, исполненные откровенной сатиры: тут и Скорпионов, и Крокодилов, и Оболдуй-Тараканов, и Проходимцев, и Голозадов, и Гу-бошлепов, и Дергунов, и т.д.

Наряду с “говорящими” фамилиями Щедрин создает труднопроизносимые и непривычные для русского уха: Гирбасов, Ижбурдин и др.

В очерке “Общая картина” о помещике Загрежембовиче сказано всего несколько слов, но они полностью характеризуют его как приспособленца и лстеца; чувство омерзения вызывают купец первой гильдии Хрептюгин и все его домочадцы: супруга, дочь, сын (“Хрептюгин и его семейство”).

“Помпадуры и помпадурши” – острое, художественно яркое обличение высшей провинциальной бюрократии. Нередко ее колоритные представители носят неблагозвучные фамилии. Таков, в частности, генерал Удар-Ерыгин, который любил развлекаться во время обеда тем, что заставлял своих подчиненных глотать ложками кайенский перец в жидком виде.

В том же цикле статский советник, взяточник и вор наделен фамилией Фурначев (“Корепанов”), а вице-губернатор именуется Садок Сосфенович.

В “Истории одного города” наряду с прямо значимыми фамилиями (Негодяев, Угрюм-Бурчеев, Прыщ и др.) находим и такие, которые намекают на неприглядную сущность персонажей своим необычным звучанием. Так, один из самых омерзительных градоначальников города Глупова назван Фердыщенко.

Интересны примеры звукописи в прозе Салтыкова-Щедрина. Иногда в них настойчиво звучит один какой-либо звук, усиливающий экспрессивность высказывания, например, *у*, *ы*, *а*. Вспомним, что еще М.В. Ломоносов в своей таблице соответствий “Звука и смысла” указывал, что частым повторением звуков *о*, *у*, *ы* можно показывать гнев, зависть, боязнь и печаль, т.е. страшные и сильные чувства.

Всех, кто соприкасался с Порфирием Головлевым, охватывал неизъяснимый страх, словно Иудушка излучал из себя какие-то смертоносные лучи. При описании появления Порфирия Головлева у постели умирающего брата Павла Салтыков-Щедрин прибегает к нагнетанию звука *у*: “Дневной свет сквозь опущенные гардины лился скупо, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он (Павел Владимирович. – Б.М.) и уставился глазами, точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине (...) вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки.

Идут, идут... – Зачем? откуда? кто пустил? – инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку” (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 6. С. 84; далее – только том и стр.).

О мастерстве писателя свидетельствует, например, описание усадьбы, в котором настойчиво звучат *ш* и *щ*: “Тишина, в которую погрузился головлевский дом, нарушалась только шуршанием, возмущавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и подслушивает у дверей” (6.208).

Использование Щедриным однокоренных слов, тавтологических сочетаний не только придает тексту выразительное звучание, но и обнажает семантику слов, потускневшую от частого употребления. Например: “Потому что вся аудитория хохотом выхохатывала это слово, и ввиду святости места вам даже нельзя было сказать этой хохочущей братии: чему хохочете! Над собой хохочете !” (4.206); “хохотал каким-то закатыстым, веселым хохотом” (5.340); “Вот кто-то вскакивает и кричит криком...” (5.279); “Кто пострадает от того, что они задаром проведут свое и без того даровое время?” (5.288); “Думаешь, что он шутку шутит...” (5.418); “Просто было тогдашнее время, а патриарх наш ухитрился упростить его еще больше” (5.505).

Важна не сама по себе игра слов, а та смысловая новизна, которая становится ощутимой именно при таком приеме. Так передается надлом в настроении Анниньки после ее обоснования в Головлеве: “Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапное, еще не осознанное, но злое и непобедимое отвращение” (6.225). И еще два примера: “Не одни умные имеют это право, но и дураки, не одни грабители, но и те, коих грабят” (6.334); “...ради чего так усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное?” (5.429).

Салтыков-Щедрин с изумительным искусством отбирает глагол для описания поведения своих персонажей, широко используя конструкции с однородными сказуемыми, нередко с одинаковыми приставками: “Хрептюгин принимает из рук своей супруги чашку изумительнейшего ауэрбаховского фарфора и прихлебывает, как благородный человек, прямо из чашки, не прибегая к блюдечку” (1.174).

Для яркой и полной характеристики персонажа сатирик часто прибегает к глагольным сказуемым, создающим определенный ритмико-звуковой рисунок речи: “Взять тройку, подтянуться кушаком, подкрепиться тремя–четырьмя рюмками очищенной, сесть в телегу, перекреститься – все это было делом одной минуты” (3.127); “Придет в первом часу – с полчаса очнуться не может: потягивается да позевывает, папироску закуривает... потом на стол сядет, ногами болтает; потом свистать начнет...” (3.403).

С помощью глаголов Щедрин скрупулезно точно передает физическое и психологическое состояние своих персонажей, их образ жизни. Таков и портрет дряхлеющего Утробина из “Благонамеренных речей”: “Генерал поседел, похудел и осунулся; он поселился в трех оштукатуренных комнатах своего нового дома и на все остальное, по-видимому, махнул рукой” (5.195). И там же колоритная зарисовка возницы: “Совершивши выпивку, ямщик сделался заметно развязнее. Посвистывая, помахивая кнутом, передергивал коренную, крутил пристяжную в кольцо и беспрестанно оборачивался на нас” (5.256).

А вот как изображаются “патриотические” поступки ревнителей отечества: “Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству” (5.520).

Столь же выразительны и пейзажные зарисовки: “Дорога. Подувает, продувает, выдувает, задует. Рогожные занавески хлопают; то взвиваются на крышку возка, то с шумом опускаются вниз и врываются в повозку” (5.382). Во многих случаях экспрессивность текста создается благодаря префиксации.

Риторические фигуры, к которым прибегает Салтыков-Щедрин (анафоры, эпифоры, синтаксический параллелизм, вопросительные и восклицательные предложения), делают звучание его прозы еще более выразительным. Так, глубокой болью и печалью проникнуто лирическое отступление писателя по поводу судьбы деревенского паренька Матюши, сданного в рекруты. Построенное по принципу анафоры, оно звучит эмоционально и впечатляюще: “Я вижу его за сохою, бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого лица; вижу его дома, исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви божией, стоящего скромно и истово, знаменующегося крестным знаменем; вижу его поздним вечером, засыпающего сном невинных после тяжелой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я и старика отца, и старуху мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное детище...” (1.142).

В совершенно другом ключе подаются саркастические размышления Щедрина о судьбе “кузины Машеньки”, привлекательная внешность которой дисгармонирует с ее примитивной, алчной натурой: «И я невольно подумал: “Возьми теперь эту тридцатисемилетнюю девочку за руку и веди ее, куда тебе хочется. Вдруг – она очутится в лесу, вдруг – среди долины ровной, вдруг – сделается хозяйкой и матерью, вдруг – проникнется страстью к балам и пикникам. И повсюду одинаково грустно-недоумело будут смотреть ее глазки, повсюду останутся сдвинутыми ее хорошенькие бровки, а губки, в данную минуту, сложатся сердечком”» (5.390).

А с помощью эпифоры подчеркивается скудность внутреннего мира изображаемых людей: “Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лелечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да кабы оно сделалось, если бы...” (4.99). Посредством эпифоры осмеиваются и либеральные беспочвенные разглагольствования: “Как знать, что было бы, если бы, и что могло бы случиться кабы?” (4.292).

Настроение упраздненного помпадура необычайно выразительно передают восклицательные и вопросительные предложения, откры-

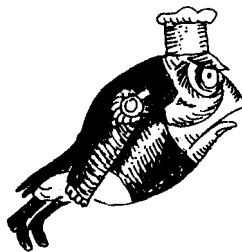
вающиеся анафористическим зачином: “Все кончено! Все кончено! Все пусто, все голо, все дышит холодом, все исполнено мрака и бесцельной, щемящей тоски... Кому какое дело, приветливая или огрызающаяся улыбка играет у него на устах? кому надобность знать, благосклонный или не терпящий возражений у него жест? Все это имело значение прежде, а теперь...” (2.166).

Ритмической “выстроенности” прозы Салтыкова-Щедрина способствуют сказуемые с одинаковым количеством слогов, с одинаково расположенным ударением, например: “...он затыкал себе уши, чтоб не слышать, зажимал нос, чтобы не обонять, и закрывал глаза, чтоб не видеть” (4.345).

Иногда ритм создается преобладанием глаголов с ударением на предпоследнем слоге: “Хищник проникает всюду <...> интригует, сгораёт завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится...” (4.320).

Для ритмической организации текста употребляются одинаковые глагольные словоформы: “Я ночей не досыпал, куска не доедал, а он... награды получал!” (4.456); «... а нужно откровенно сказать себе: “хватай, лови, пей, ешь и веселись”» (5.360).

В прозе писателя звукопись используется, начиная с фамилий персонажей и кончая лирическими отступлениями. Читая Салтыкова-Щедрина, мы не только отчетливо видим героев его произведений, но и слышим их, ощущаем эмоциональное состояние самого автора.





Творчество, сердце, музыка, песня...

О цикле стихотворений Н.А. Заболоцкого 1946 года

О. Б. МРАМОРНОВ

7 мая исполнилось сто лет со дня рождения большого поэта и мужественного человека Николая Алексеевича Заболоцкого. Его стихи – вершинные для русской поэзии 40–50-х годов. Поэта пытались убить, но не убили. Его искусство выросло из бездны страдания.

История ареста Заболоцкого, его заключения в лагерь, перевода с лесоповальных работ на чертежные (что спасло ему жизнь), потом на Алтай (в Кулундинских степях на содовом заводе он надорвал сердце) и в Казахстан теперь достаточно известна благодаря усилиям сына Заболоцкого и других публикаторов. О своем аресте в марте 1938 года, о допросах, содержании в доме предварительного заключения на Литейном и в знаменитых Крестах (а по ходу дела и в Институте судебной психиатрии) и двухмесячном этапировании в одном вагоне с уголовниками в сторону Комсомольска-на-Амуре поэт написал сам.

“История моего ареста” – компактное, небольшое по объему воспоминание. Страшное изложено ровным тоном. Заболоцкий писал его безо всякой охоты, исполняя долг или обещание. Как раз такие, лишенные беллетристики свидетельства, наиболее достоверны. Показаний ни на себя самого, ни на кого-либо из тех литераторов, кем интересовалось следствие, он не дал.

Их восемь – стихотворений Николая Заболоцкого, помеченных 1946 годом и включенных автором в рукописное итоговое собрание, которое он составил незадолго до кончины, последовавшей в 1958 году. В последней авторской редакции и в порядке, установленном самим поэтом, эти стихотворения воспроизведены в Большой серии “Библиотеки поэта” (Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы. М. – Л., 1965 г.; цитаты по этому изданию): “Слепой”, “Утро”, “Гроза”, “Бетховен”, “Уступи мне, скворец, уголок”, “Читайте, деревья, стихи Гезиода”, “Еще заря не встала над селом”, “В этой роще березовой”.

Сын поэта Никита Заболоцкий в своей недавней книге “Жизнь Н.А. Заболоцкого” указывает, что “Утро” написано раньше других стихотворений 1946 года (16 апреля), потом – “Слепой” и “Гроза”.

Хронология других стихотворений тоже не всегда совпадает с расположением, установленным поэтом: компоновка характерна для цикла.

Восемь стихотворений 1946 года словно накладываются на восемь лет заточения. Это стихи после темноты и молчания. Прямых каторжанских примет и привязок в них нет, но очевидно, что распевка в “Слепом” происходит после ночного, темного периода жизни:

Научился ты жить
В глубине векового тумана,
Научился смотреть
В вековое лицо темноты...

Слепой певец. Старая как мир тема. Ее брал в разработку Баратынский: “Что за звуки? Мимоходом Ты поешь перед народом, Старец нищий и слепой!”

Пересечения поэтов заметны, вполне может статься, что Заболоцкий писал по канве Баратынского: как удар от песни слепца – потом охлаждение; стертость, тривиальность песнопений слепого. “Бедный старец! слышу чувство В сильной песне... Но искусство... Старцев старее оно; Эти радости, печали – Музыкальные скрывали Выражают их давно!” Все это было – было и есть в идеальном строе музыки: песня старика не несет художественной новизны. Баратынский пишет о повторениях, стирающих впечатления художества; у него песня слепца переводится из области цитатного сочинительства в сферу духовного избранничества, горнего клира и тем спасается – там, быть может, ей воздадут должное: “Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник!”

У Заболоцкого в конце стихотворения, напротив, – побуждение петь несмотря ни на что, притом, что старик проклят Богом, а ночные светила (некий, скажем так, аналог горнего клира Баратынского) сияют равнодушно. Автор уподобляет себя слепому певцу: “Я такой же слепец С опрокинутым в небо лицом”.

Художник слеп до тех пор, пока заперт в самом себе, в своем горестном сердце. Неодолимое желание песни, желание света, желание прозреть – об этом стихотворение. Муза властвует над тем, кого выбрала, и избранник уже не волен в себе (“И куда ты влечешь меня, Темная грозная муза {...} Ты сама меня выбрала, И сама ты мне душу пронзила...”).

В начальном стихотворении цикла 1946 года поэт всеми силами ищет гармонию, и песня, музыка для него наиболее точный ее эквивалент.

В “Утре” дана первая попытка исхода слепого из его темницы, погруженности в самого себя.

Светает. Уходит ночь. Пора выходить в мир. Запевку в “Утре” дает петух: “Петух запекает, светает, пора!” Дятлы, перестукиваясь, вы-

рубают ноты; ноты угрюмы, но дятлы работают споро, без остановок:

Рожденный пустыней,
Колеблется звук,
Колеблется синий
На нитке паука.
Колеблется воздух,
Прозрачен и чист,
В сияющих звездах
Колеблется лист.

И птицы, одетые в светлые шлемы,
Сидят на воротах забытой поэмы,
И девочка в речке играет нагая
И смотрит на небо, смеясь и мигая.

Ритмический перебой в манере любимого Заболоцким Хлебникова. Ритм есть, а мелодии нет. Слепой вступает в мир хотя и значительно высветленных, но первоначально природных явлений, *первых пустынных симфоний*, в котором не звучит мелодия сердца; нет и слов (*забытая поэма*). А в небе, куда смотрит маленькая купальщица, собирается гроза...

“Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница...” Медленная музыка, адажио “Грозы” – музыкально великолепное видение музыки, преображенное воплощение *грозы музыки* “Слепого”: *светлоокая дева из темной воды*.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева;
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы,
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

Гроза знаменует разрядку, очищение, после мук темноты, стеснения и духоты выплескиваясь, вырываясь *сияющим дождем*. В “Грозе” Заболоцкий запечатлел приход слова в белом облаке. Это повелительное, играющее громами и вместе с тем родное, давно чаемое слово. Оно приходит к тому, кто его ожидал.

“Бетховен” продолжает “Грозу”, разворачивая акт человеческого вдохновения и творчества, идущего навстречу миру надприродных явлений, ибо гроза не только явление природы, но и вестница мира идеальных сущностей.

В “Бетховене” поставлен вопрос о соотношении слова и мысли, слова и музыки, логоса и мелоса. Мысль должна быть открыта, про-

явлена, разыграна или спета музыкальной фразой, а не стеснена в теле. Тогда мысль перестает томить, как, скажем, томила она Баратынского, которого Заболоцкий читал и в лагере: “Все мысль да мысль! Художник бедный слова! О жрец ее! Тебе забвенья нет...”. Неотступная мысль художника слова устремляется в сродную поэзии область музыкальной свободы. Музыка представлена завершением творческих усилий и победой творчества, но музыкант не должен чураться или бояться слова, как не боялся его Бетховен.

“Бетховен” не только самодостаточное произведение искусства, но и эстетическая декларация, опровергающая написанное в 1932 году “Предостережение”, где задорно и остроумно сформулированы тогдашние антимузыкальные аргументы Заболоцкого: “Где древней музыки фигуры, Где с мертвым бой клавиатуры, Где битва нот с безмолвием пространства – Там не ищи, поэт, душе своей убранства. Соединив безумие с умом, Среди пустынных смыслов мы построим дом – Училище миров, неведомых доселе. Поэзия есть мысль, устроенная в теле {...} Коль музыки коснешься чутким ухом, Разрушится твой дом...”

Проблематика творческой эволюции Заболоцкого слишком обширна, чтобы сводить ее к конфликту мелоса с логосом. Но безмолвное и мертвое мировое пространство оживает, в стихах 1946 года становится выразимым именно с помощью музыкальных созвучий.

Хорошо петь вместе со скворцом. “Уступи мне, скворец, уголок” – еще одно птичье видение музыки. Легкое, звенящее и пьянящее, как ранняя весна. Стихотворение захлебывается в благодарении.

Поселись в скворешне, путешествуй вместе со скворцом по весенним полям, пребывая в полном одинодушии с веселой ожившей природой – и всё, и ты достиг того, к чему стремился. Не мешают *литавры* и *бубны истории*. Стань скворцом, и песня твоя будет столь же беззаботна и заливица, как у весеннего *свистуна*.

Природа, однако, не столь упоительна и не столь проста, как это кажется весной. Она претендует на человека целиком, а потом – в другие времена года, более всего осенью – внушает противоположные настроения и мысли:

Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня,
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело.

“Еще заря не встала над селом” – эти предутренние и утренние зимние стихи спокойны, прозрачны, задумчивы. Их написал овладевший собой, победивший отрицательные внушения природы, опознавший *живые силы вдохновений* поэт:

Так на заре просторных зимних дней
Под сенью замерзающих растений
Нам предстают свободней и вольней
Живые силы наших вдохновений.

Вот бы и концовка для всего цикла о творчестве и вдохновении. Но спета ли *возвышенная живая песня*, взыскуемая в “Слепом”? В веселом скерцо “Скворца”, в руладе *первого весеннего певца из березовой консерватории* больше поет сама природа – сердце откликнулось ей, запело, но человеческая песня может прерваться, поэт боится за неокрепший голос и бережет его. Искомый возвышенный напев появится в восьмой песне цикла – “В этой роще березовой”.

В “Березовой роще”, как в музыкальной коде, вновь звучит и разрабатывается весь тематический материал цикла 1946 года. Заболоцкий сводит основные темы предыдущих стихотворений: поющую птицу, березовую рощу (она мелькала в “Скворце”), утренний свет (здесь он розовый, немигающий), пустынную песню, слепоту и прозрение (*опаленные веки* убитого солдата), горестное, разорванное – и все равно поющее – сердце. Вводит новые темы и мотивы: *войну, смерть, солдата, прозрачную розовую лавину листьев*.

Драматургия стихотворения заключена в видении иволги (музы), которой угрожает смерть, *смертельное облако. Отшельница леса* смолкает, появляется, летит *над обрывами, над руинами смерти...*

Поэт вновь подчеркивает мотив сердца, насыщает песню птицы новым содержанием, сравнивая ее с *целомудренно бедной заутреней* – скромной утренней молитвой. Целомудрие здесь – целостность, которую берут на разрыв, а она не рвется. Целомудрие заключает в себе глубокие этические пласты. И в этом – этически насыщенном виде – Заболоцкий делает пустынную птичью песню и человеческой тоже.

Открывается и поется та самая *забытая поэма*, песня о жизни, ворота которой стерегли в “Утре” птицы в светлых шлемах. Голос птицы и голос человека сливаются в *разорванном сердце*, соединяются и звучат в унисон.

Несравненная (целомудренная) гармоническая плавность “Березовой рощи” заживляет рану, и песня поется вопреки разрыву.

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я убитый к земле.

Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.

За этим следует финал об окончательном торжестве утра – *об утренней торжественной победы над березовой рощей, где под божественной каплей холодеет кусочек цветка* – неуничтожимый остаток жизни. Конфликт судьбы и музыки разрешен в пользу песни – в “Слепому” судьба мешала петь.

“Березовая роща” не просто музыкальна, она – *напевна*. Тронь струну, и стихотворение запоется само.

Цветаева говорила, что всё, или самое главное дал тот, кто дал песню. Заболоцкий создал песню, дошедшую до массовой аудитории (ведь он народный поэт). Она звучала в фильме Станислава Ростоцкого конца 60-х годов “Доживем до понедельника”, где ее пел артист Вячеслав Тихонов, сыгравший в картине роль учителя истории, интеллигента-фронтовика Мельникова.

Но ведь в жизни солдаты мы...

Каждое из восьми стихотворений 1946 года по-своему замечательно, звучит и вне зависимости от других, демонстрирует редкостную широту и разнообразие интонационной палитры, мастерство голосоведения. Но то, что хотел сказать автор, становится слышимым в полную меру лишь тогда, когда отзвучит последний аккорд.

Цикл 1946 года – о вечном. Творчество, сердце, музыка, песня... Он удивительным образом конденсирует в себе то время, с его болью и с его надеждой. 1946-й – первый год после великой Победы, победительно-трагедийный пафос цикла навсегда связан с этой значительнейшей вехой.



Реалии советского времени в повести Ю.В. Трифонова “Обмен”

*Е. Н. БАСОВСКАЯ,
кандидат филологических наук*

Небольшая повесть Ю.В. Трифонова “Обмен”, написанная в 1969 г., позволяет рассматривать ее как достаточно точное художественное отражение времени. В ней проявился свойственный Трифонову интерес к подробностям будничного человеческого существования. Но именно насыщенность текста реалиями ушедшей советской эпохи тридцатилетней давности может затруднять его восприятие современным читателем. Без прояснения устаревших слов и выражений не улавливаются намеки, юмор, обедняется идейное звучание повести.

“Обмен” позволяет выделить несколько тематических полей. Рассмотрим два из них.

Тематическое поле “недвижимость” выделяется потому, что в центре сюжета – необходимость немедленного обмена жилплощади: “...Жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице”.

Сама ситуация характерна для советской общественно-экономической системы: отсутствует частная собственность на недвижимость и,

соответственно – купля-продажа жилья; мать главного героя не может завещать комнату сыну. Читатель, не осознающий этих обстоятельств, не поймет основного драматизма повести. Кроме того, словосочетание “хорошая комната” представляется ему абсурдным: что хорошего может быть в коммунальной жилплощади?

Размышляя о предстоящем обмене, Дмитриев предполагает: “...потребуется, наверное, доплата”. Это психологически важный момент, усиливающий эмоциональное напряжение: доплата незаконна; придется не только мучительно объясняться с матерью, но и рисковать, намекая в объявлениях об обмене на возможность денежного решения проблемы. Не менее тревожными оказываются и раздумья героя повести о технологии обмена: “Лучше всего найти маклера. У Люси есть знакомый маклер, старичок, очень милый. Он, правда, никому не дает своего адреса и телефона, появляется сам как снег на голову, такой конспиратор...”

С точки зрения современного читателя, поведение маклера по меньшей мере странно. В соответствии с новым “Толковым словарем иноязычных слов” Л.П. Крысина, отражающим реалии нынешнего языкового сознания, “маклер – посредник при заключении торговых сделок... Ср. брокер, джоббер, дилер, дистрибьютор, комиссионер, прокурис, риелтор” (С. 409).

Иное представление о понятии отражено в регулярно переиздававшемся в советские годы словаре С.И. Ожегова: “маклер – в буржуазном обществе: посредник при заключении торговых сделок”. Прямое соотнесение маклерства с представлением о буржуазном мире соответствует официальному толкованию термина и идеологически, а следовательно, и оценочно маркирует его. Маклерство – явление чуждое и враждебное советскому человеку. Трифонов же употребляет слово в ином значении, не отмеченном советскими словарями: человек, незаконно осуществляющий торговые сделки в сфере недвижимости и имеющий тайный доход.

Текст повести Трифонова подтверждает мысль о том, что многие слова параллельно существовали в официальном советском новоязе и – нередко иронически переосмысленные – в противостоявшем ему разговорном языке.

Среди других составляющих тематического поля “недвижимость” – кооперативная квартира, которую строит один из знакомых главного героя, и ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора), обязывающий жильца делать в квартире ремонт, и историзм “райжилотдел”, называющий реалию советского времени: “Жилотдел – жилищный отдел (при исполкоме Советов депутатов трудящихся), занимающийся учетом и распределением жилой площади” (Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998. С. 192). В целом ситуация конца 60-х, касающаяся приобретения и смены жилья, преподносится в повести без авторских комментариев, как очевидная.

Большой интерес представляет в повести тематическое поле “советский быт и образ жизни”. Так, при внимательном чтении “Обмена” можно составить некоторое представление о деньгах и ценах конца 60-х годов.

Подпольные услуги маклера стоят сто – сто пятьдесят рублей, визит платного врача (также – неофициальный) – пятнадцать рублей. Сестра Дмитриева потратила шестьдесят рублей за месяц, когда пришлось несколько раз вызывать доктора к больной матери. Это значительная сумма, и семья осталась практически без денег. Сам Дмитриев получает сто тридцать, и просьба сестры – привезти хотя бы рублей пятьдесят – ставит его в тупик: такой суммы у него нет. Приходится обратиться к бывшей любовнице Тане: у нее “отложены двести рублей на летнее пальто”.

Принципиально важна математическая точность, с которой Трифонов говорит о доходах и тратах героев повести. Если проанализировать приведенные цифры, можно получить существенные характеристики советского образа жизни. Средние зарплаты чрезвычайно малы, но и они дают возможность откладывать деньги на будущую крупную покупку. Это объясняется низким уровнем цен, их стабильностью, малым числом доступных товаров. В то же время существует параллельный, черный рынок услуг, с таким уровнем цен, который не соотносится с официальными доходами.

Наконец, финансовые выкладки важны для психологического портрета героев. Сестра Дмитриева Лора – истинный советский интеллигент: она, не считая, тратит деньги на лечение матери, а потом ставит брата перед фактом: необходимо достать где-нибудь рублей пятьдесят. Деньги для Лоры – низкая материя, думать о них стыдно, естественнее всего поручить это брату, погрязшему в мещанской среде.

Но никаких дополнительных возможностей заработка у Дмитриева не существует, и он вынужден попросить займы у Тани, с которой был близок, но расстался. Она сейчас же дает ему деньги, без колебаний отказавшись от давно задуманной важной покупки. Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие авторских деклараций, Трифонов четко противопоставляет нищее благородство одних персонажей сытому бездушию других. В этом его художественный мир полностью соответствует официальной советской идеологии, прославлявшей честную бедность и клеймившей всякое личное богатство.

Но будучи советским человеком, Трифонов дает свою глубокую оценку корней мещанства. Приобретательство, духовную узость, эгоизм он выводит не только из индивидуальных качеств людей, но и из свойств той действительности, которая их окружает.

Герой “Обмена”, уйдя с работы пораньше, «бегал... в универмаг “Москва”, покупал форму для Наташки». Сегодняшнему читателю непонятно, почему в универмаг нельзя зайти после работы: тот факт,

что школьная форма являлась дефицитом и за ней надо было стоять в рабочее время в большой очереди, остается в подтексте повести. По той же причине сотрудницы института, где работала жена Дмитриева Лена, “в обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек”. Как само собой разумеющееся преподносится и наблюдение Дмитриева: в метро он видит “старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр”. Для молодого читателя эти детали не вполне ясны, а ведь именно из них складывается тот значимый фон, на котором развивается действие повести.

Трифоновское повествование на первый взгляд не кажется оценочным. Писатель избегает стилистически ярко окрашенной лексики, не называет жизнь своих персонажей серой, унизительно зависящей от мелочей, нелепых тягот быта. Лишь немногие явления советской повседневности расцениваются героями повести как неприятности и трудности. Плохо, что у дочери нет своей комнаты и она спит в углу за ширмой. Кормилица Наташи живет в бараке на Таракановке; возле пивного ларька герой наблюдает “черную толпу мужчин” (опять большая очередь).

Нет у Трифонова и персонажей – противников режима. Однако интеллигенты в его книгах нередко находятся во внутренней оппозиции. Так, у любовницы Дмитриева Тани в тетради “переписаны стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока”. Это не просто свидетельство книжного дефицита, но и показатель тайного инакомыслия: творчество Цветаевой и Мандельштама не запрещено, но и не одобряется, их книги практически не издаются, официальная идеология навязывает читателям иных авторов. Таня же (самый порядочный человек в повести) сохраняет независимость оценок и находит источники, откуда можно почерпнуть полуправительственные тексты.

Достаточно полное представление дается в повести и о советских благах и радостях. К ним относятся путевки на Рижское взморье и тем более на Золотые пески (поездка в Латвию не заграничная, но престижная, Болгария же для многих не приобщенных к льготам советских людей – предел мечтаний о заграничных путешествиях).

К разряду редких удач герои повести относят внезапно повернувшееся свободное такси. Праздником оказывается вечерний показ по телевизору футбола или старой комедии: больше смотреть нечего.

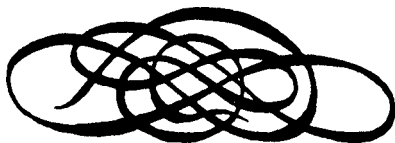
Исключительной удачей считается то, что у Лены на работе раз в неделю демонстрируются иностранные фильмы. Здесь автор опять недоговаривает в расчете на читательское понимание. В принципе, иностранные фильмы идут в советских кинотеатрах. Но в данном случае речь явно о другом – о закрытых просмотрах, где можно увидеть официально неодобряемое кино (к тому же, на языке оригинала или с синхронным переводом). Этим писатель подчеркивает, что у московской интеллигенции есть своя духовная жизнь, противостоящая официальной культуре.

Интересно перечисление материальных ценностей: Дмитриев и его жена Лена “спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти знакомых”. У “малоимущих” приятелей Дмитриева «их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски “Белая лошадь”, купленных случайно в Столешниковом и хранящихся на всякий пожарный дома в книжном шкафу...». Автомобиль, моторную лодку и даже палатку и сегодня можно отнести к разряду ценных предметов. Что же касается дорогих напитков, то во времена Трифонова они все же были доступны по цене среднему советскому человеку. Трудность состояла в том, чтобы найти их в продаже. Именно поэтому в тексте повторяется парадоксальное, с нынешней точки зрения, словосочетание “купленные случайно”. Не зная культурного фона, современный читатель воспринимает эту информацию как странную.

Психологический портрет Дмитриева – недурного, но слабого человека – формируется постепенно, складывается из множества штрихов. Например, на похороны деда он пришел с портфелем, «в котором лежало несколько банок “сайры”, купленных случайно на улице». По пути на похороны близкого человека Дмитриев покупает консервы, которые любит жена. Это не проявление черствости, а автоматизм советского поведения: дефицитный товар приобретается в любых обстоятельствах. Дмитриев купил сайру не потому, что не любил деда и не скорбел о нем, а потому, что любил Лену и увидел редкую возможность ее порадовать.

Большое значение имеют в повести “Обмен” и блага иного рода – не те, что достаются случайно, а те, что добываются в жестокой борьбе людьми, “умеющими жить”, – они используют условия тотального дефицита в своих интересах, “хорошо устраиваются”, становясь одновременно объектом осуждения и зависти. Так, жена Дмитриева «была на “ты” с молодой директоршей санатория, и та разрешила Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачей, почти недостижимой для простых смертных», как и “английская спецшкола в Утином переулке, предмет вождления, зависти, мерило родительской любви и расшибаемости в лепешку”.

Возникающее в контексте повести противопоставление интеллигентов и мещан невозможно понять без ясного представления о тех реалиях, в которых жили те и другие.



Последний завет Пушкина

С. А. ВЕНГЕРОВ

Давно уже идет в русской литературе спор о назначении искусства. В чем истинная задача искусства вообще и поэзии в частности?

Самодовлеющая ли это величина, процветающая, достигающая полного развития только тогда, когда она отдается всецело своим внутренним потребностям?

Или же, напротив того, великая способность волновать сердца людей, великое очарование искусства только тогда и проявляется во всей своей силе, когда оно соединено с желанием научить чему-нибудь. Рядом с исканием художественной красоты, художественного совершенства, не должно ли художественное произведение быть проникнуто определенным стремлением осветить ту или другую проблему общественной жизни и морали?

Автор настоящей заметки, в другом месте, бросив взгляд на весь ход нашей литературы за два века европейского периода ее существования, приходит к тому выводу, что русская литература никогда не замыкалась в сфере чисто художественных интересов. Она всегда была *кафедрой, с которой раздавалось учительное слово*. Все крупные деятели нашей литературы, в той или другой форме, отзывались на потребности времени и были художниками-проповедниками.

Не составляет исключения и Пушкин, хотя взгляды его на задачи искусства всего менее отличаются устойчивостью. Сердито говорит он в одном из своих писем: “цель поэзии – поэзия”. Но не говорит ли нам последний завет великого поэта – его величественное стихотворение “Я памятник себе воздвиг нерукотворный” о чем-то совсем ином? Какой другой можно сделать из него вывод, как не тот, что основная задача поэзии – возбуждение “чувств добрых”.

Зигзагами шли общественные и литературные настроения Пушкина.

В Александровскую эпоху Пушкин был живым отражением беспокойного настроения времени и сам себя характеризовал как поэта, который “свободу лишь умеет славить”.

В первых романтических поэмах своих и отдельных стихотворениях он бросал страстный вызов тирании и всем старым традициям, про-

возглашал свободу чувств и проповедовал презрение к условным формам.

Со второй половины 20-х годов улеглось брожение и самого Пушкина, и общества, и поэт вступает в так называемый “объективный” период своего творчества.

Но помимо того, что и это стремление к объективному творчеству было отражением настроения времени, утомленного возбуждением последних лет царствования Александра и жаждавшего спокойствия, помимо этого косвенного служения нуждам времени, Пушкин никогда не был в состоянии совладать с живой натурой своей и оставаться на олимпийских высотах безразличного творчества.

Всеобъемлющий гений Пушкина никогда не успокаивался на чем-нибудь одном, и никто точнее его самого не исполнял завета, который он дал поэту:

...Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.

И так как отзывчивая натура влекла его то в одну, то в другую сторону, то каждая из главных литературных теорий наших – и сторонники “чистого искусства” и апологеты искусства общественного – может подтвердить свои положения ссылками на Пушкина. Недавно ведь сравнивал Пушкин поэта с “эхом”, которое на все отзывается, будь то “глас бури и валов” или мирный “крик сельских пастухов”.

Да, в минуту полемического раздражения и притом совсем особого рода (вовсе не антидемократического, как принято думать), он, действительно, воскликнул в “Черни”:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Но разве это же самое стихотворение не есть полное нарушение провозглашенных в нем принципов? Ведь в нем нет ни звуков сладких, ни молитв, и в общем оно представляет собою яркий образчик тенденциозно-дидактического запрещения идти дорогою свободною, куда влечет поэта его свободный от каких бы то ни было запрещений ум:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв

будто бы создан поэт. И вслед затем пишется страстный памфлет “Клеветникам России” – отклик на злобу дня в буквальном смысле слова – на дебаты в одном из заседаний французского парламента.

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд! –
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношение,
Жрецы ль у вас метлу берут?

Так иронизирует поэт, когда ему предлагают быть “полезным”. А через несколько лет этот же жрец, единственно из желания быть полезным, берется за метлу журналиста, и великое дарование тратится на сметание сора, внесенного в литературу Булгариными и К^о.

Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя, –

просит поэта “чернь”, т.е. публика, всем ходом русской литературы приученная получать от нее поучения. Но поэт презрительно отказывается:

Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!

А в это самое время он заканчивал “Евгения Онегина”, в котором жизнь “Черни” отразилась с небывалою до того полнотою и в котором в пленительном образе Татьяны был преподан один из самых знаменитых и волнующих уроков жизни, когда-либо преподанных русской литературой. Прошло почти 80 лет, как Татьяна ответила Онегину:

Я вас люблю, к чему лукавить.
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна, –

и этот ответ не перестает до сих пор волновать русского читателя и поднимать в нем вопросы нравственного порядка. Многое, очень многое в гениальном романе перестало интересовать позднейшего читателя, на многое он стал смотреть исключительно с исторической точки зрения. Но образ Татьяны, олицетворивший в себе полную свободу от условности с неумолимым сознанием долга, навсегда врезался в сердце русского читателя. Каждое поколение имеет свое отношение к ответу Татьяны, – то восторженно-положительное, то насмешливо-отрицательное, но во всяком случае не безразличное. “Смелый урок” на практике был дан поэтом, теоретически от него отказавшимся. На практике, следовательно, поэт и в эпоху своего пренебрежения ко всему тому, что не есть интерес чисто художественный, никак не мог

удержаться в ограниченной сфере чисто эстетических настроений и тоже стал учителем жизни. Да и как тому иначе быть? Разве есть что-нибудь безразличное в жизни и даже в “мертвой” для других, но живой для поэта природе?

И не только стал Пушкин учителем жизни, но в учительном характере литературы усмотрел ее высшее назначение. В 1836 году Пушкина усиленно занимает мысль о смерти, он заказывает себе даже могилу в Святогорском монастыре, где вскоре и пришлось ему опочить вечным сном. Правильно или неправильно – это другой вопрос, он чувствует потребность подвести итоги всей деятельности, определить сущность своего значения в истории русского слова. Он пишет – “Я памятник воздвиг себе нерукотворный”, где с тою величавою простотою, которая характеризует истинно великих людей, говорит без всякого жеманства, без всякой ложной скромности о своем бессмертии. Создатель русской поэзии не сомневается в том, что будет “славен, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит”, что слух о нем “пройдет по всей Руси великой” и назовет его “всяк сущий в ней язык”. Но за что же, однако, ему столь великий почет?

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Сам по себе этот ответ столь знаменателен, что не нуждается ни в каких дальнейших пояснениях. Более яркого подкрепления нашего утверждения не придумаешь. Пушкин, этот идол всякого приверженца теории “чистого” искусства, в одну из торжественнейших минут своей духовной жизни превыше всего ценит в литературе учительность.

Но интерес пушкинской формулировки назначения литературы еще безмерно возрастает, когда мы обратимся к {...} черновику знаменитого стихотворения.

Оказывается, что первоначально Пушкин, совершенно в духе “чистого” искусства, так определил свое значение:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.

Твердо и без столь обычных у него помарок, т.е. без колебания написал Пушкин подчеркнутый стих, в котором выразил свое теоретическое литературное кредо.

Но вот он перечитывает плод непосредственного вдохновения, снова вдумывается в тему и пред лицом вечности открываются новые горизонты. Нет, мало для поэта истинно великого одних эстетических достоинств, только к памятнику того не зарастет “народная тропа”, кто пробуждает “добрые чувства”, кто был учителем жизни.

И зачеркивается формула эстетическая, а взамен ее дается учительно-гражданская.

* * *

Предлагаемая вниманию читателей заметка о Пушкине принадлежит перу Семена Афанасьевича Венгерова (1855–1920), историка русской литературы и библиографа. Как литературовед, Венгеров – представитель культурно-исторической школы. Его взгляды сложились под влиянием либерально-народнических воззрений. В своих работах он утверждал, что русская литература “никогда не замыкалась в сфере чисто художественных интересов и всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово”. Об этом он говорит и в заметке “Последний завет Пушкина”, опубликованной им в IV томе собрания сочинений А.С. Пушкина в шести томах, которое выходило под его редакцией в издательстве Брокгауза и Ефрона с 1907 по 1915 годы в серии “Библиотека великих писателей”. Многочисленные работы Венгерова сохраняют свою историко-литературную ценность до наших дней. В педагогической деятельности особое внимание он уделял созданному им в 1906 г. в Петербургском университете Пушкинскому семинарию, в котором приобщил к изучению Пушкина плеяду известных литературоведов: С.М. Бонди, Ю.Н. Тынянова, В.М. Жирмунского, Б.М. Эйхенбаума. Их работы печатались в выходивших под редакцией Венгерова сборниках “Пушкинист” (сб. 1–3. Пг., 1914–1918). Под руководством Венгерова началось составление словаря поэтического языка Пушкина.

Публикацию к печати подготовила
Т.Г. Дмитриева,
кандидат филологических наук

Сказав мало, сказать многое

*В. Г. КОСТОМАРОВ,
действительный член РАО,
Н. Д. БУРВИКОВА,
доктор филологических наук*

В последнее время мы часто слышим по телевидению, радио, просто на улицах: «“Норд-Ост” – это наше 11 сентября». Слышим и понимаем как надо – и, конечно, не буквально.

На фоне возникших в последнее время ассоциаций словосочетание “Норд-Ост” начало иносказательно восприниматься даже в текстах, созданных задолго до тех страшных октябрьских дней 2002 года.

Вот некоторые из них.

Норд-Ост

Норд-Остом жгут пылающие зори
Острей горит Вечерняя звезда.
Зеленое взволнованное море
Еще огромней, чем всегда.

Закат в огне, звезда горит алмазом.
Нет, рыбаки воротятся не все!
Ледяно-белым страшным глазом
Маяк сверкает на косе.

(И. Бунин)

Ночь. Норд-Ост. Вой солдат.

(М. Цветаева)

Стихотворения И. Бунина и М. Цветаевой были рассчитаны на буквальное понимание словосочетания “Норд-Ост”.

Однако... Дежа вю? Настроение, которое создают строки из И. Бунина и М. Цветаевой, где-то близко к ауре октябрьских событий в Москве 2002 года, во всяком случае при ретроспективном взгляде от нас, нынешних, в начало века, когда были написаны приведенные стихотворения. Как тут не вспомнить А. Ахматову, которая говорила: то, что в стихах – всегда сбывается.

Чтение стихотворений И. Бунина и М. Цветаевой сейчас – это по-неволе отдаленное понимание словосочетания “Норд-Ост”.

От буквального значения к отдаленному ведет ряд ассоциаций. Какими ассоциациями теперь сопровождается словосочетание “Норд-Ост”? Новый топоним – вряд ли кто теперь вспомнит, что трагический дом на улице Мельникова – дворец культуры Шарикоподшипникового завода. Коллективное мужество заложников и спецназовцев. Действующие лица московской трагедии на экранах невыключаемых телевизоров.

Вот еще одна возможная ассоциация к “Норд-Осту” в виде целого текста: “Как будто в театре вдруг зажгли свет, и я увидел рядом с собой людей, которых только что видел на сцене. Неужели это действительно было? Кажется, еще минуту тому назад нельзя было сказать, живые это люди или только игра, которая побледнеет и исчезнет при ясном свете реальной мысли; но вот свет зажгли, и ничего не исчезло”. Дежа вю? Это из “Двух капитанов” В. Каверина (по мотивам этой книги был создан мюзикл). Герой любитесь природой. Применительно к “Норд-Осту” этот текст теперь понимается буквально, воссоздавая страшную атмосферу появления боевиков во время спектакля на сцене.

Из обычного словосочетания “Норд-Ост” стал образным выражением, которое в начале своего существования было рассчитано на буквальное восприятие, т.е. представляло только само себя. “Норд-Ост” как образное выражение возник как реакция на ситуацию.

Перед нами, таким образом, типичное становление выражения, которое приобретает некоторую устойчивость. За выражением стоит некоторая новая информация, новый текст, что сильнее денотативно-го значения. Поэтому выражению приписываются разные возможности, которые могут выводиться из информации, из текста.

“Норд-Ост”, если судить по материалам прессы последнего времени, уже становится символом восстанавливаемого бизнеса; обозначением теракта, гибели невинных людей, напоминанием о действиях спецназа, вызывающих разное толкование и оценку.

Что символизирует “Норд-Ост” для террористов – а наверняка он и для них что-то значит – можно только догадываться. Но ясно, что сочетание останется во фразеологии русского языка.

Приобретая образность, подобное выражение начинает применяться к различным ситуациям. Оно иносказательно и знаково; его употребление вызывает к жизни ряд ассоциаций. Это фактически готовое правило на особые случаи жизни.

Обзор выражений такого рода показывает, что их невозможно связать с какой-либо одной лингвистической категорией – словом или словосочетанием или предложением; фразеологизмом, клише, метафорой. Языковое выражение закрепленного общественной памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в результате создания и постижения духовных ценностей отечественной и

мировой культур – это голос прошлого, звучащий сегодня; оживление его, приведение в согласие, в симфонию с новой нынешней жизнью – высшее мастерство отправителя речи, которым может быть и беллетрист, и политик, и просто интересный собеседник. Обращаясь к культурной памяти, носителями которой они являются, образные выражения, помимо всего прочего, обеспечивают ощущение принадлежности к той же социально-культурной группе, к той же нации. Ведь они позволяют выразить новое содержание через призму картины мира, ментальности, социально-культурной истории данного народа. Этим они обеспечивают безграничное приращение смысла, экспрессии, эмоциональности. Это происходит все время, но особенно быстро и четко, когда связано с событием, потрясшим и воображение и чувства всего населения.

Мы назвали такие образные выражения *логоэпистемами*: *логос* – греч. “слово”, *эпистема* – греч. “знание” (Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и молодое вино. СПб., 2000). Вспомним, что А.А. Потебня писал о поэтическом образе, который одновременно является представителем тысячи отдельных мыслей и в то же время может быть представителем только себя самого (Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990). Поэтический образ возникает из непосредственных наблюдений, идей, мыслей, замечаний, восприятий, преданий. При этом он служит ответом на различные случаи жизни. А.А. Потебня подчеркивал, что есть два способа понимания поэтического образа – буквальное и более отдаленное. Буквальное понимание сосредотачивается вокруг конкретного значения. Более отдаленное – это понимание иносказательное. При иносказательном понимании поэтический образ становится языком. От буквального значения к переносному переход осуществляется через сочетание мыслей, т.е. через ассоциации (Потебня. Указ. соч.).

Фактически А.А. Потебня описывал образные выражения, о которых речь шла выше, логоэпистемы в нашей терминологии. Уже было? Да, но сфера рассмотрения А.А. Потебней поэтических образов не выходила за рамки теоретической поэтики.

А сейчас карнавализация современного русского языка, интертекстуальность восприятия и понимания, многопространственность и многомерность окружающих нас текстов актуализировали то, что А.А. Потебня называл поэтическими образами, а мы назвали логоэпистемами. Поэтика вторглась в нашу повседневную жизнь и в ней обосновалась. Поэтический образ в понимании А.А. Потебни сгущает мысль, усложняет ее и увеличивает быстроту ее движения. Для этого сейчас есть чисто прагматическое объяснение: сказав мало, сказать многое. В XIX веке на языке так, как сейчас, не экономили...

“Норд-Ост” стал логоэпистемой. Дежа вю. Уже было. Не дай Бог повторения...



ШКОЛА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

М. Н. ПАНОВА,

кандидат филологических наук

Устная речь занимает значительное место в профессиональном общении на государственной службе. Причем пренебрежение произносительными нормами русского языка часто отвлекает слушателей от содержания речи работника госаппарата, вызывает недоумение и в конечном счете подрывает доверие к госслужащему как представителю государства. Несоблюдение орфоэпических норм свидетельствует не только о невысоком уровне общей культуры чиновника, но и о его недостаточной профессиональной компетентности. Как говорил известный педагог С. Соловейчик, "...можно произнести тысячу красивых и страстных слов, но одно неправильное ударение погубит тебя во мнении народном... Неправильно произнести слово и не поправиться – это аморально, и недаром смеются всей страной над неграмотными нашими деятелями: если ты настолько глух, что не слышишь, как говорят окружающие, если ты не дорожишь мнением людей, если ты умеешь и не хочешь исправить несколько слов в своей речи, если ты думаешь, что ты выше законов языка, что общие правила тебя не касаются, что твой пост защищает тебя от насмешек, то пеняй на себя" (Соловейчик С. Передо мной открылся мир ударений // Русский язык. 1998. № 39).

Многочисленные произносительные ошибки в речи государственных служащих обусловлены не только объективными причинами: трудными для запоминания орфоэпическими правилами или их отсут-

ствием, вариативностью орфоэпических норм. “Дополнительные трудности создает недостаточная разработанность общей теории норм, вопросов соотношения нормы и системы языка, нормы и вариантов” (Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М., 2001. С. 8). Известно, что работать над нормативным произношением особенно нелегко взрослым людям, речевая культура которых формировалась на протяжении десятилетий, – людям, уже имеющим определенный профессиональный и социальный статус.

Десятилетний опыт обучения госслужащих в Российской академии государственной службы нормативному произношению и ударению позволяет нам интенсифицировать процесс обучения работников органов государственного управления орфоэпическим нормам современного русского языка.

Прежде всего мы выявляем коммуникативные потребности госслужащих, проанализировав типичные ситуации их служебного общения. Результаты наблюдений, личных бесед со слушателями Академии и, в первую очередь, результаты проведенного в центральном аппарате одного из министерств эксперимента показали, что можно выделить следующие типы ситуаций профессионального общения.

Строго официальные ситуации – переговоры, научные и служебные доклады на конференциях и совещаниях, отчеты перед руководством о проделанной работе, публичные выступления в СМИ.

Менее официальные ситуации – ежедневные рабочие совещания, большинство телефонных разговоров, деловые беседы с коллегами, обслуживание текущих дел в рабочем порядке.

Ситуации полуофициального повседневного служебного общения – это межличностное общение, проходящее в форме диалога и занимающее значительную часть рабочего дня: составление и уточнение текстов служебных писем, обсуждение результатов рабочих совещаний, встречи с коллегами из других городов, различные служебные беседы непосредственно в своем отделе. Тематика этих бесед весьма разнообразна: распределение и уточнение служебных обязанностей, обсуждение предстоящих международных встреч (повестки дня, программы), кадровые проблемы, вопросы делопроизводства и т.д.

Таким образом, современный чиновник использует в служебном общении практически все функциональные разновидности и стили языка. Лексика, используемая госслужащими в профессиональном общении, разнообразна с точки зрения стилевой принадлежности. Среди книжных слов надо отметить высокий удельный вес общественно-политической лексики.

Все это позволяет провести отбор коммуникативно ценного языкового материала, определить специфику занятий, а также сформулировать их цель и задачи, важнейшая из которых – знакомство учащихся с основными орфоэпическими нормами и правилами, корректиров-

ка их произношения. Здесь главным подспорьем служат орфоэпические материалы учебного пособия “Культура языка государственного служащего” (М.: РАГС, 1998), прежде всего раздел “Нормативное произношение и ударение”.

При знакомстве слушателей со специальными словарями и справочниками обязательно обращается внимание на существование различных, иногда взаимоисключающих рекомендаций, касающихся произношения или постановки ударения в ряде слов. Например, последние издания “Орфоэпического словаря русского языка” рекомендуют произносить “исчЕрпать” и дают запретительную помету: “не рек. исчерпАть”, а в “Словаре ударений русского языка” (М.: Айрис Пресс, 2000) этот глагол рекомендуется произносить: “исчерпАть”. Можно привести и другие примеры. В таких случаях мы ориентируем слушателей на наиболее авторитетные, академические, издания.

После теоретической преамбулы учащиеся выполняют практические задания. Предлагаем и вам, уважаемые читатели, выполнить такое задание и тем самым проверить себя:

1) Вместо точек вставьте буквы Е или Ё: *аф...ра, оп...ка, ман...вры, деловая см...тка, ист...кий срок, быти... и сознание, осужд...нный, плат...жеспособный, возжел...нная награда.*

2) Вставьте, где необходимо, пропущенную букву: *иниц(?)дент, э(?)скорт, интриган(?), конкурент(?)оспособный, ина(?)гурация, юрис(?)консульт, уч(?)реждение, буду(?)щий, преце(?)дент, конъю(?)ктура, конста(?)тировать, компроме(?)тировать, э(?)сгумация, конфиде(?)циальный.*

3) Поставьте ударения в именах собственных, пользуясь “Словарем ударений русского языка”: *Балашиха, аэропорт Быково, Анадырь, Сенеж, Шри-Ланка, Израиль, Перу; Г. Ягода, С.И. Ожегов, художники А. Иванов, Б. Кустодиев, А. Дюрер, П. Пикассо.*

4) Поставьте ударение в следующих словах: *маркетинг, саммит, эмбарго, нувориш, каталог, некролог, квартал, диспансер* и т.д.

5) Прочитайте глаголы, оканчивающиеся на *-ировать* с правильным ударением: *приватизировать, делегировать, блокировать, привировать, нормировать.*

6) Прочитайте глаголы в форме прошедшего времени:

принял, приняла, приняли;

начал, начала, начали;

клала, клали;

послал, послала, послали;

задал, задала, задали.

7) Прочитайте краткие страдательные причастия с правильным ударением:

*роздан, раздана, розданы;
созван, созвана, созваны;
избран, избрана, избраны
начат, начата, начаты*

8) Поставьте ударение в следующих глаголах: *углубить, облегчить, подбодрить, обострить, упрочить.*

9) Поставьте ударение в существительных *обеспечение, соболезнование, намерение, премирование, упорядочение, упрочение.*

10) Прочитайте действительные причастия прошедшего времени с правильным ударением: *занявший, прибывший, начавший, принявший, умерший, повлекший за собой.*

11) Прочитайте страдательные причастия прошедшего времени с правильным ударением: *проведенный, переведенный, перенесенный, приобретенный, возбужденный, внесенный.*

12) Поставьте ударение: *еретик, духовник, христианин, Апокалипсис, неопалимая купина, всенощная, благовест, вероисповедание, Тайная вечеря, иконопись, знамение, катарсис, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.*

Ответы см. на с. 127

Ответа на задания (см. с. 45)

1) афЕра, опЕка, манЕвры (манЁвры), деловая смЕтка, истЕкший срок, бытиЕ и сознание, осуждЁнный, платЁжеспособный, вожде-
лЕнная награда.

2) инцидент, эскорт, интриган, конкурентоспособный, инаугура-
ция, юрисконсульт, учреждение, будущий, прецедент, конъюнктура,
констатировать, компрометировать, эксгумация, конфиденциальный.

3) Балаши́ха, аэропорт Быко́во, Ана́дырь, Сенéж, Шри-Ланка́, Из-
раи́ль, Перу́; Г. Ягóда, С.И. О́жегов, А. Ива́нов, Кустóдиев, А. Дю́рер,
П. Пика́ссо (в Испании: Пика́ссо).

4) ма́ркетинг, са́ммит, эмба́рго, нувори́ш, катало́г, некроло́г, квар-
та́л, диспансе́р.

5) приватизи́ровать, делеги́ровать, блоки́ровать, премирова́ть,
нормирова́ть.

6) при́нял, приняла́, при́няли; нача́л, начала́, нача́ли;
клла, кла́ли; посла́л, послала́, посла́ли; за́дал, задала́, за́дали.

7) рóздан, раздана́, рóзданы; со́зван, со́звана, со́званы; из́бран, из-
брана, из́браны; нача́т, начата́, нача́ты.

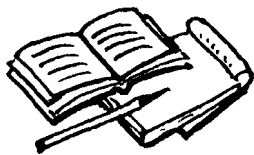
8) углуби́ть, облегчи́ть, подбодри́ть, обостри́ть, упрóчить

9) обеспéчение, соболе́знование, наме́рение, премирова́ние, упоря́-
дочение, упрóчение.

10) заня́вший, прибыв́ший, нача́вший, приня́вший, умер́ший, по-
влёкший за собой.

11) прове́денный, переве́денный, перене́сенный, приобрете́нный,
 возбу́жденный, внесе́нный.

12) ерети́к, духовни́к, христиани́н, Апокали́псис, неопалимая купина́,
всено́щная, бла́говест, вероиспове́дание, Тайная ве́черя, иконопись, зна́-
мение, катарсис, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.



Слово вместо словосочетания

Н. В. ЧЕРНИКОВА,

кандидат филологических наук

Как известно, люди по своей природе экономны. При необходимости мы экономим время, деньги, собственные физические силы. Наша экономность распространяется и на язык. Одним из универсальных законов, действующих в языке, является закон экономии языковых средств. Об этом писал А.М. Пешковский: “Язык по своей природе экономен в средствах” (Пешковский А.М. Сб. ст. Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика. Л.–М., 1925).

В повседневной разговорной речи мы постоянно производим такие слова, как *заправка*, *визитка*, *сгущенка*, *тушенка*, *жвачка*, *пятиэтажка*, *микроволновка*, *музыкалка* и т.п., практически не задумываясь над тем, что эти слова лишь неофициальные обозначения предметов, которые официально названы целыми словосочетаниями: *заправочная станция*, *визитная карточка*, *сгущенное молоко*, *тушеное мясо*, *жевательная резинка*, *пятиэтажный дом*, *микроволновая печь*, *музыкальная школа* и т.п. Стремление к краткости выражения, динамизму общения, оперативной передаче информации определяет использование именно однословных названий.

Явление образования слов на базе словосочетаний известно в лингвистической литературе под разными терминами: чаще всего используется термин “универбация” (от лат. *unus* – “один”, *verbum* – “слово”), а соответственно слова-стяжения называют “универбатами”; кроме того, данный процесс иногда определяют как “синтетическое сжатие”, “стяжение”, “семантическая конденсация”, “включение”. Путем универбации образуются лексические единицы, которые по своему содержанию эквивалентны неоднословным официальным названиям реалий, давно имеющих в языке обозначение. Однако за счет своей краткости именно эти неофициальные слова гораздо чаще используются людьми в практике повседневного бытового общения.

Наиболее типичным случаем суффиксальной универбации является образование слова, синонимичного атрибутивному словосочетанию с согласованным определением. Определяемое существительное в этом случае опускается, а всю смысловую нагрузку принимает на се-

бя основа прилагательного, к которой присоединяется словообразовательный суффикс.

Наблюдения показывают, что наиболее продуктивным в области предметной номинации является суффикс *-к* (*а*): *копирка* (копировальная бумага), *электричка* (электрический поезд), *зачетка* (зачетная книжка), *маршрутка* (маршрутное такси), *джинсовка* (джинсовая ткань), *многоэтажка* (многоэтажный дом) и т.п. Активен суффикс *-к* (*а*) и при образовании имен собственных. Так, в обиходе у москвичей и гостей столицы встречаем: *Третьяковка* (Третьяковская галерея), *Ленинка* (Бывшая Государственная библиотека им. В.И. Ленина, сейчас Российская государственная библиотека, но слово *Ленинка*, как и прежде, остается широкоупотребительным), *Историчка* (Историческая библиотека), *Лубянка* (Лубянская площадь), *Маяковка* (станция метро "Маяковская") и т.п. Этим же способом образуются названия газет: "*Комсомолка*" ("Комсомольская правда"), "*Литературка*" ("Литературная газета"), "*Мичуринка*" ("Мичуринская правда") и др.

Как отмечает В.В. Лопатин (см.: Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования. М., 1973), слова-стяжения с суффиксом *-к* (*а*) имеют свою уже довольно долгую историю. Эта словообразовательная модель возникла в разговорной речи в XIX веке. По свидетельству мемуаристов, она использовалась в 40-х годах XIX века в среде театралов. Тогда-то и возникли такие названия петербургских театров, как *Мариинка* и *Александринка* (Мариинский оперный театр и Александринский драматический театр). Затем по этой же модели возникают такие слова, как *ночлежка* (ночлежный дом), *охранка* (охранное отделение), *чугунка* (чугунная дорога), *предварилка* (камера предварительного заключения), *открытка* (открытое письмо) и многие другие.

В последующее время для номинации предметов и явлений используется и суффикс *-ик*: *кассетник/двухкассетник* (кассетный/двухкассетный магнитофон), *мобильник* (мобильный телефон) и т.п. Однако чаще суффикс *-ик* употребляется для обозначения лица по роду его деятельности, занятий. Например: *глазник* (глазной врач), *бюджетник* (бюджетный работник), *внештатник* (внештатный сотрудник), *дневник* (студент, обучающийся на дневном отделении), *договорник* (студент, поступивший в вуз на договорной основе) и т.п.

Активность суффикса *-ик* со значением лица и самого процесса универбации была отмечена В.В. Виноградовым еще в середине XX столетия: «Наблюдается тенденция к синтетическому сжатию составных обозначений, словосочетаний в одно имя существительное, например: *плановик* (работающий в области планирования, как бы "плановый работник"); *пищевик* (работник пищевой промышленности); *вечерник* (студент вечернего факультета) и т.п.» (Современный русский язык. Морфология. М., 1952).

Реже в процессе суффиксальной универбации встречаются другие суффиксы. Например: *-ушк (а) (психушка – психиатрическая больница)*, *-як (горняк – работник горной промышленности)*, *-щик (крановщик – крановый рабочий)*, *-янк (а) (временка – временная постройка)*, *-ок (комок – коммерческий или комиссионный магазин)*.

Стяжение словосочетания в одно слово может происходить и при нулевой суффиксации, сопровождающейся усечением основы производящего прилагательного. Так возникли существительные *контакты* (контактные линзы), *дефицит* (дефицитный товар), *индивидуал* (человек, занимающийся индивидуальной трудовой деятельностью), *травма* (травматологическое отделение больницы) и другие. Приведем некоторые примеры употребления этих слов: «Ассортимент на сегодняшний день стал более скудным, но заказы все равно комплектуются *дефицитами* по розничным ценам» (АиФ. 1991. № 39); «Он перепродавал вещи, сшитые нелегальными *индивидуалами*» (Смена. 1991. 8 янв.); «Сейчас многие заменили очки импортными и отечественными «контактами»» (из разговорной речи); «Три недели пролежал в «травме»» (из разговорной речи).

Большинство слов-универбатов распространено в разговорной речи повсеместно. Однако многие подобные образования присутствуют в профессиональной разговорной речи, где также велико стремление говорящих к краткости и мобильной передаче информации. Вот некоторые примеры употребления профессионализмов: «Бежит по рельсам *габаритка*»; платформа с металлическими ребрами каркаса, объемная модель пассажирского вагона метropоезда» (Известия. 1994. 9 дек.); «Завершена разработка трех видов переплетных материалов из *нетканки*» (Известия: 1998. 14 сент.); «Заводу осталось только получить разрешение на массовое производство *циркулярки*» (Правда. 1999. 22 марта); «Я спросил молодых ткачих, недавно переведенных с *глади* на «жаккард» (а это признание мастерства), кого они считают своими наставницами» (Известия. 2000. 24 окт.).

Людам «непосвященным», далеким от соответствующих профессиональных областей, неизвестно, что *габаритка* – это габаритная модель, *циркулярка* – циркулярная пила, *нетканка* – нетканый материал, *гладь* – одноцветная гладкая ткань. К профессиональным словам, образованным на базе словосочетаний, относятся и такие, как *гримерка* (гримерная комната актеров), *тихоходка* (машина, имеющая тихий ход), *двухлетка* (двухлетний план), *марафонка* (спортсменка, занимающаяся марафонским бегом), *тройник* (спортсмен, занимающийся тройными прыжками), *молочник* (рабочий молочной промышленности), *ватник* (работник ватного предприятия), *цветник* (рабочий по добыче, производству и обработке цветных металлов) и т.п.

Обращает на себя внимание и еще одна суффиксальная модель – это неофициальные названия областей на *-щин (а)* типа *Тамбовщина*,

Орловщина, Рязаницина, которые широко используются в СМИ. Данные “сокращенные” наименования вместо *Тамбовская область, Орловская область, Рязанская область* и т.п. соответствуют жанровой специфике газетно-журнальных статей, а также репортажей по радио и телевидению, которые призваны мобильно и оперативно передавать разнообразную общественно значимую информацию.

Примечательно, что слова-стяжения могут использоваться в различных значениях в зависимости от того, какое конкретное словосочетание они заменяют. Например, существительное *временка* употребляется в следующих значениях: “временная печка в жилых помещениях”, “временная проезжая дорога”, “временный рабочий поселок первостроителей”, “любая временная постройка”. Слово *горняк* также многозначно: “работник горной промышленности”, “студент горного учебного заведения”, “горный ветер”.

В двух значениях употреблялось и жаргонное существительное *совок*, возникшее на волнах перестройки и популярное в 80–90-х годах XX века. Это слово заменяло собой два словосочетания: “Советский Союз” и “советский человек”. Возникло оно на базе усеченного прилагательного *советский* при помощи суффикса *-ок* и внешне совпало с абсолютно омонимичным существительным *совок* (“предмет в форме лопатки”). В отличие от большинства оценочно нейтральных слов, образованных в процессе универбации, существительное *совок* с момента своего возникновения имело оскорбительно-уничтожительную окраску, которая ощущалась буквально во всех его употреблениях. Например: «В “совке” нерадивых детей попрекали Гайдаром, который в 16 лет уже командовал полком» (Коммерсант. 1993. № 16); «Тот, кто придумал слово “совок”, и есть самый стопроцентный “совок”. Кстати, *совок* вовсе не советская достопримечательность. *Совки* – дети любого тоталитарного режима» (Огонек. 1993. № 47–52).

В.Г. Костомаров, подробно анализируя семантику и оценочность данного образования (см.: Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994), отмечает, что яркая презрительно-уничтожительная окраска, присущая этому слову, может возникать по разным причинам, к числу которых следует отнести и влияние омонимичного слова *совок*, принадлежащего к примитивной бытовой сфере и дающее возможность метафоризации значения. Отрицательную оценку можно рассматривать и как внутреннюю сущность самой словообразовательной модели с суффиксом *-ок* (ср.: *сучок, лопушок, щенок* и т.п. применительно к людям). В любом случае данное экспрессивное слово стало заметным языковым явлением и входило в число ключевых слов перестроечного и постперестроечного времени. Более того, в отличие от большинства универбатов, которые, как правило, не имеют производных, существительное *совок* стало базой для образования таких слов, как *совковый* и

совковость. Например: «Сегодня эта система меняется, но осталась “совковая” серость, безынициативности» (24 часа. 1990. № 2); «Оказывается, можно жить в маленьком провинциальном городке, самое название которого нынче звучит уничижающе, и искоренять “совковость” – репертуаром, качеством театральности, верностью себе» (Огонек. 1993. № 6). К настоящему времени существительное *совок* и его производные встречаются гораздо реже как в газетно-журнальных материалах, так и в разговорной речи.

Слова, образованные в процессе универбации, по-разному соотносятся с производящим их словосочетанием. Одни из них полностью эквивалентны двучленному атрибутивному словосочетанию, например: *газировка* – газированная вода, *районка* – районная газета, *наружка* – наружное наблюдение, *наличка* – наличные деньги, *двустволка* – двуствольное ружье и т.п.

Другие однословные наименования более емки по содержанию, чем их производящая база. Они содержат добавочные элементы значения. Так, *заочник* – это студент, обучающийся на заочном отделении; *всемирка* – многотомное издание “Всемирная литература”; *пятерка* – модель ВАЗ 2105 легкового автомобиля “Жигули” (в просторечии пятый номер “Жигулей”). Аналогичным образом возникли разговорно-просторечные названия автомобиля “Жигули” других моделей: *шестерка*, *семерка*, *восьмерка*, *девятка*, *десятка*. Именно эти слова в обиходе у владельцев автомобилей, да и у остальных людей. Например: «“Жигули” – “шестерка” с десятилетним стажем по оценке автомагазина может стоить около пяти тысяч» (Неделя. 1990. 16 дек.); «Старик, не морочь себе голову. Купишь “семерку” – горя знать не будешь!» (За рулем. 1991. 2 дек.); «На ходу “восьмерка”, даже заезженная, считается машиной резвой, динамичной» (Известия. 1994. 4 марта); «Красная “девятка” резко тормозит у тротуара. Широко, со стуком распаивается задняя дверца» (Невское время. 1994. 11 нояб.); «Все надежды и чаяния отечественного машиностроения были связаны с “ВАЗ-2110”, проще говоря – долгожданной “девяткой”. Все ждали, что уж она-то будет похожа на настоящую машину с нашей ценой» (Деньги. 1996. 12 февр.).

Итак, однословные наименования вместо развернутых словосочетаний – это одна из языковых примет нашего времени. С момента их появления в практике живого общения было немало как сторонников, так и противников подобных слов-универбатов. В частности, А.Г. Горнфельд в первые годы советской власти писал о словах с суффиксом *-к (а)* следующее: “Этот суффикс знаменует легкое отношение, бесцеремонность, пренебрежение. Кто впервые сказал *курилка*, *столовая*, *Маринка*? Конечно, не пожилой человек с спокойным темпераментом ..., с бережным вниманием к языку, а человек живой, молодой духом, торопливый, бойкий...” (Горнфельд А.Г. Муки слова.

М.–Л., 1927). Вряд ли этого “живого, молодого духом, бойкого” человека следует осуждать, ведь именно молодые всегда спешат, стремятся многое успеть, а следовательно, и быстрее общаться.

В 60–70-х годах XX века развернулась оживленная дискуссия, в том числе и на страницах журнала “Русская речь”, относительно корректности употребления слов типа *зачетка*, *читалка*, *лабораторка* в разговорной речи, а также *Смоленщина*, *Брянщина* в газетно-публицистических текстах. Многие писатели, лингвисты, журналисты, обычные люди выступали против их употребления. Слова-стяжения рассматривались как явления молодежного жаргона, как искусственные слова, нетипичные для русского языка. Звучали призывы не употреблять их в речи.

В настоящее время подобные дискуссии уже не возникают. Специфика современной эпохи в жизни русского языка – раскованность, раскрепощенность, динамизм. Люди стали говорить и писать более свободно, причем как в быту, так и в средствах массовой информации. Жизнеспособность и частотность слов-стяжений доказана практикой речевого общения. Будучи прежде всего принадлежностью разговорной речи, универбаты в настоящее время широкоупотребительны и в языке периодики, и в устной публичной речи. Они очень удобны, экономны, отвечают практике живого общения. Поэтому их разумное использование в соответствующих коммуникативных сферах не должно отрицательно воздействовать на лексико-словообразовательную систему русского языка. Однако в этих условиях необходимо следить за чистотой речи и совершенствованием родного языка. Немалая роль в этом принадлежит школе, учителям-словесникам и, конечно, семье. Ведь именно здесь закладывается фундамент правильной литературной речи.

Мичуринск

Сильный – силовой

В. И. КРАСНЫХ,

кандидат филологических наук

Прилагательное *сильный* впервые зарегистрировано в лексиконе славянорусском Берынды в 1627 году. За прошедшие четыре века оно прочно вошло в русский язык, обросло многочисленными лексико-семантическими связями и обладает весьма широкой сочетаемостью с существительными различных семантических групп. Современные толковые словари выделяют от пяти (“Русский толковый словарь” Лопатиных) до девяти (БАС) значений этого слова. При этом в ряде случаев наблюдаются некоторая непоследовательность и противоречивость в толковании этого прилагательного. В известной степени это связано с недостаточным количеством иллюстративного материала, используемого в словарях для выделения тех или иных значений. Попытаемся в данной заметке восполнить эти пробелы, опираясь на материалы собственной картотеки и приводя многочисленные речения, а также цитаты из современной художественной литературы и публицистики, которые иллюстрируют употребления этого прилагательного (а затем и его паронима *силовой*) в каждом значении.

Нами выделено восемь значений прилагательного *сильный*:

1. Обладающий большой физической силой; требующий для выполнения значительной физической силы. *Сильный человек, мужчина, парень, Сильная девушка, женщина. Сильное животное. Сильный зверь, бык. Сильная лошадь. Сильное тело. Сильный кулак. Сильный толчок. У него сильные руки, мышцы. Нанести кому-л. сильный удар. Сделать сильный рывок вперед. Сделать сильный бросок мяча.* “Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически *сильные*” (Паустовский. Дядя Гиляй); “Козыреву тяжело было представить, как ловкий, *сильный*, красивый *зверь* медленно и страшно задыхался в земляной могиле” (Нагибин. На кордоне); “Новые *сильные толчки* ощутили в четверг жители Восточной Явы” (Сегодня. 1994. 18 июня).

2. Могущественный, обладающий большой властью, имеющий большое влияние; мощный. *Сильное государство. Сильная страна, держава. Сильный президент, монарх, правитель. Сильный конкурент, соперник. Сильное правительство. Сильный парламент. Сильная оппозиция. Сильная армия. Сильный военно-морской флот. Сильная артиллерия. Сильный отряд, резерв. Иметь дело с сильным*

противником. Создать сильную оборону. Оказывать сильное сопротивление.

3. Обладающий большой или значительной мощностью (о машинах, механизмах, приборах и т.п.). *Сильный мотор, прожектор, электромагнит. Использовать сильный телескоп.*

4. Оказывающий быстрое, эффективное действие на кого-л. *Сильное средство, лекарство. Сильный антибиотик. Принять сильное снотворное. Употреблять сильные наркотики.* “Илья Андреевич выпил сильное снотворное и забылся тяжелым сном” (Дашкова. Никто не заплачет).

5. Значительный по величине, силе своего проявления. *Сильный мороз, холод, ветер. Сильный дождь, снег, ураган. Сильный огонь, взрыв. Сильный запах, свет, шум. Сильная гроза, буря, вьюга. Сильное землетрясение, наводнение. Сильная боль, болезнь, простуда, одышка. Сильный кашель, насморк. Сильная радость, печаль, ненависть. Сильное желание, недовольство. Попасть в сильный буран. Бороться с сильным пожаром. Страдать от сильной жары. Почувствовать сильный голод. Испытывать сильное волнение, возмущение, разочарование. Перенести сильное нервное потрясение. Произвести на кого-л. сильное впечатление.* “Мы улетели от сильных морозов, и мало кто из нас ожидал очутиться вдруг в сияющем солнцем, теплом, тихом декабре...” (Семенов. Игра воображения); “Сильный ветер дул с той стороны, где сидела Елена...” (Куприн. Морская болезнь); “Когда не было *сильной жары*, она (Галка) бродила по Лангуну без видимой цели...” (Велембовская. Дела семейные); “Сильное землетрясение на Тайване стало причиной гибели по крайней мере одного человека...” (Сегодня. 1994. 7 июня); “В римской архитектуре самое *сильное впечатление* на меня произвел Колизей” (Гофф. Как одеты гондолеры).

6. Обладающий упорством, настойчивостью, обнаруживающий решительность, стойкость, твердость духа. *Сильный человек, мужчина. Сильный лидер, руководитель, политик. Сильная женщина. Сильная личность, натура. Обладать сильным характером. Иметь сильную волю.* “Сильный и мужественный человек, отличный спортсмен, он (Коржак) добровольно пошел на войну с фашизмом” (В. Николаев. Титан); “Как большинство *сильных личностей*, Нагибин окружил себя теми, кого называют профессиональными исполнителями” (Профиль. 1999. № 1); “Хорн *сильный лидер* с политической интуицией, которая его не подводит” (Известия. 1994. 6 июля); “Одиночество и несчастье не сломили ее *сильного характера*, а сделали его только упрямее” (Герцен. Былое и думы).

7. Разг. Достигший больших успехов в своей работе, в своем деле; способный, знающий, умелый. *Сильный ученик, студент. Сильный певец, пианист, писатель. Сильный политик, руководитель, специа-*

лист. Сильный игрок, стрелок, бегун. Сильная команда, группа, труппа. Сильный класс, курс. “Ее брат силен в математике и занял первое место на международной олимпиаде школьников” (Из разговора); “За последние годы появилось много молодых *сильных политиков*, хорошо вписавшихся в систему власти” (Комс. правда. 1997. 15 января.); “Попову, который сам славился большой работоспособностью, удалось подобрать *сильную команду*” (Профиль. 1999. № 1).

8. Разг. Обоснованный, убедительный, веский; значительный по своему воздействию на кого-л., впечатляющий. *Сильные доводы, аргументы, доказательства. Сильное произведение. Сильный фильм, спектакль, рассказ. Сильная пьеса, картина, статья. Сильная вещь. Привести сильные доводы. Произнести сильную речь.* «“Андрей Рублев” – самый сильный фильм Тарковского» (Из разговора).

Как видно из приведенных речений и цитат, наиболее широким является круг сочетаемости прилагательного *сильный*, употребляемого в пятом значении. Существительные, сочетающиеся с ним в этом значении, носят отвлеченный характер.

В отличие от прилагательного *сильный* его пароним *силовой* впервые официально зарегистрирован сравнительно недавно – в 1940 году, в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова. Первоначально его употребление имело отношение исключительно к технической и спортивной сферам, что до сих пор находит отражение в подавляющем большинстве толковых словарей русского языка. Однако в конце XX века у этого слова появляются два новых значения. Это связано со все более широким использованием различных военизированных структур (армии, полиции, налоговой и таможенной служб и т.п.) и политических структур при проведении внутренней и внешней политики, обеспечении безопасности страны, а также соблюдении законности и правопорядка. Эти значения впервые сформулированы в “Толковом словаре современного русского языка” под ред. Г.Н. Складчиковой. Мы также выделяем эти значения, но в несколько видоизмененной редакции.

Таким образом, у прилагательного *силовой* существуют, на наш взгляд, следующие лексические значения:

1. *Спец.* Вырабатывающий или передающий энергию для производства каких-л. работ, для промышленных целей; преобразующий какую-л. энергию. *Силовая станция. Силовой кабель. Ядерная силовая установка. Силовой трансформатор. Силовая подстанция.* “Пожар на ТЭЦ-1, возникший из-за разрыва *силового кабеля*, вынудил персонал станции остановить все турбины” (Сегодня. 1994. 5 ноября).

2. *Спец.* Связанный с проявлением каких-л. сил (магнитных, электрических и т.п.). *Силовые линии. Силовое поле.* “Вернулся друг-художник и сразу попал в наше *силовое поле*” (Арбатова. Мне сорок

лет...); “Сразу, едва войдя, Твардовский заполнял собой комнату – у комнаты появлялся центр. Сколько бы ни было в ней людей – все *силовые линии* располагались мгновенно к нему, все от него намагничивались” (Лакшин. Твардовский в “Новом мире”).

3. Спец. Связанный с применением значительной физической силы; требующий применения такой силы (о спорте и цирке). *Силовые виды спорта. Комплекс силовых упражнений. Силовые акробаты, жонглеры. Силовой трюк. Использовать силовой прием. Вести силовую борьбу за мяч.* «Может быть, стоит сразу готовить девчонок к силовым упражнениям по удержанию “опоры” на своих хрупких плечах?» (Домашний очаг. 1999. Март); “Вместе с другом Георгием они сделали номер силовых акробатов в стиле гладиаторов” (Домашний очаг. 1998. Декабрь).

4. Относящийся к подразделениям государственной власти, призванным обеспечивать безопасность страны, а также соблюдение законности и правопорядка. *Силовые структуры, подразделения. Силовые министерства, ведомства. Силовой блок. Силовые министры.* “Нельзя сказать, что российские силовые структуры никак не реагировали на угрозу с юга” (АиФ. 1994. № 26); “Теперь бывший руководитель всей российской охраны и безопасности будет приглядывать за силовыми ведомствами” (Профиль. 1999. № 1).

5. Опирающийся на военизированные или политические структуры как на аппарат подавления; осуществляемый с позиции силы. *Силовая политика. Силовое решение конфликта. Действовать силовыми методами. Избрать силовой вариант. Осуществить силовую акцию. Оказывать силовое давление на кого-что-л. Не допустить силовых действий. Рассматривать решение какой-л. проблемы в силовой плоскости.* “Ситуация складывалась драматическая. Мы не могли пойти на активные силовые действия по освобождению Савельева...” (Моск. новости. 1997. № 51); “Попытки силового давления, в том числе со стороны США, ни к чему не приведут” (Профиль, 1999. 31 января); “Несмотря на то, что никаких силовых методов воздействия к радикалам не применялось, их популярность постепенно снижалась” (Коммерсант-Власть. 1999. № 5); “Клевета – самый легкий способ борьбы за место под солнцем. Это прямой силовой прием, благодаря которому можно влиять на конкурентов и на общественное мнение” (Профиль. 1999. № 8).

Таковы в настоящее время лексические значения прилагательного *силовой*. При этом следует отметить, что в первых трех значениях это слово практически не расширяет своего круга сочетаемости. Что же касается двух последних значений, то здесь наблюдается постепенное расширение круга сочетаемости, в который втягиваются все новые и новые существительные. Это живой и продуктивный процесс.

Когда появилось слово *хохма*?

Н. А. ЕСТЬКОВА,

кандидат филологических наук

Есть замечательный лексикографический источник – “Сводный словарь современной русской лексики”, вышедший в 1991 г. Он представляет собой объединенный словник 14 словарей – толковых, орфографического, орфоэпического, словаря иностранных слов и двух энциклопедических источников – БСЭ и СЭС. При каждом слове приводится цепочка индексов, которыми “зашифрованы” словари. Эти индексы даются в хронологическом порядке, так что можно сразу узнать, в каком словаре слово зафиксировано впервые.

Против слова *хохма* находим следующие индексы: **НС Ож Орф ОЭ М-2**. Значит, оно есть в словаре Ожегова, в орфографическом и орфоэпическом словарях (в тех последних их изданиях, которые учтены в Сводном словаре) и во втором издании “малого” академического словаря. Но первым стоит индекс **НС**, под которым значится следующий лексикографический источник: “Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов” (М., 1971). В **НС** зафиксированы также производные слова *хохмач*, *хохмачка*, *хохмить*. В иллюстративной части приводятся примеры из изданий (главным образом, журналов и газет) 1964–1967 гг.

Люди старших поколений, наверное, вспомнят, что слово *хохма* воспринималось тогда, в 60-е годы, как новое, только что появившееся, характерное для сниженной разговорной речи. Его обычно заключали в кавычки. Теперь оно, не потеряв разговорную окраску, воспринимается как вполне привычное. Его “семья” в других словарях пополнилась словами *хохмаческий*, *хохмачество*, *хохмочка*. Казалось бы, все ясно. Но ...

Недавно мне попалась очень интересная книга, вышедшая в 1936 году: “Эдуард Багрицкий. Альманах под редакцией Влад. Нарбута”.

Позволю себе отступление о редакторе этой книги. В нашумевшем в свое время произведении Валентина Катаева “Алмазный мой венец” под “псевдонимами” фигурируют писатели, в большинстве случаев легко опознаваемые. К числу загадочных персонажей принадлежит “Колченогий”. Так зашифрован поэт-акмеист Владимир Нарбут. Арестованный в 1936 г. и погибший в лагерях, он надолго исчез из рус-

ской культуры. Книга его чудом сохранившихся стихотворений издана в 1990 г.¹

Составленный В. Нарбутом альманах объединяет публикации ранее не печатавшихся стихов Багрицкого, статьи и воспоминания о нем. Приведу две цитаты из воспоминаний о поэте: «К сожалению, я никогда не записывала Эдиных “хоxm”» (Зинаида Шишова, 1917–1921 годы. С. 197); «А Эдуард лежит – чужой, нелюдимый... Это он-то нелюдимый? Нет, это не тот. Тот был Эдя, встрепанный, грузный, иронизирующий, обаятельный, с попугаями, рыбами, песнями, “хоxмами”...» (Илья Сельвинский, 12 часов 1 минута 16 февраля 1934 года. С. 379. Название точно указывает момент смерти Багрицкого).

Значит, слово *хохма* существовало задолго до 60-х годов XX века. Возникло оно, надо думать, в веселой компании одесситов, центром которой был Багрицкий. Кавычки подчеркивают его необщепутребительность.

Какова же была “жизнь” слова *хохма* в течение трех десятилетий, пока оно не стало настолько заметным, что попало в словари? Было бы интересно обнаружить случаи его употребления между 30-ми и 60-ми годами.

Напомню свою заметку о слове *сиюминутный*, которое тоже вошло в активное употребление в 60-е годы и впервые зафиксировано в том же **НС**. А задолго до этого его употребил Маяковский в предисловии к “Мистерии-буфф” в 1921 г. Я задалась тогда вопросом: возникло оно вновь или подспудно существовало, “выйдя на поверхность” в 60-е годы? (См. “Русскую речь”. 1996. № 4).

И вот еще один похожий случай...

¹ “... В 1960 г. в подмосковном Шереметьеве горела дача. Хозяева, Шкловские, были в отъезде. Из соседнего дома на помощь пожарным выбежал другой писатель, В.Ф. Огнев. Дача сгорела дотла. Осталось три предмета: оплавленная фарфоровая вазочка, металлическая пишущая машинка, тоже оплавленная, и рыжий, старинный, толстой кожи портфель, совершенно целый, только слегка прихваченный огнем по углам. Это имущество полагалось описать и взять на охрану до возвращения хозяев. Милиционер попросил Огнева вскрыть портфель. В нем были рукописи Владимира Нарбута...” (Нина Бялосинская, Николай Панченко. Предисловие к книге: Владимир Нарбут. Стихотворения. М., 1990. С. 8)

“Не разлучат нас никогда коты, невзгоды и года”

Т. И. СУРИКОВА,
кандидат филологических наук

Грамматика и менталитет

Язык как зеркало менталитета – тема популярная, правда, рассматривается с этой точки зрения преимущественно лексика – наиболее наглядный и поэтому любимый объект анализа. Но возможности грамматики, в частности, сочинительной связи, не меньшие, хоть и не настолько очевидные. Еще К.С. Аксаков, которого не раз называли Ломоносовым в истории русского языка и литературы, отмечал, что сочинительные ряды ориентированы на живую речь и тесно связаны *со сферой субъективного и случайного*. Мысль облекается в легкую незамкнутую конструкцию, доступную сокращению или приращению по мере ее развития, и ни один ее компонент не представлен как доминирующий, более значимый.

Логические и синтаксические правила, в соответствии с которыми создаются подобные ряды, давно описаны. Но существуют и некоторые *психологические, социальные, личностные* ограничения, которые можно понять, анализируя конструкции с сочинительной связью. Они и дают представление об особенностях менталитета, отраженных грамматикой.

Навеянные современной прессой размышления по этому поводу, при этом не всегда серьезные, мы и предлагаем вашему вниманию.

От перемены мест слагаемых...

сумма не меняется только в математике. В языке очень часто порядок перечисления компонентов сочинительного ряда бывает жестко задан.

Самый очевидный случай – **отражение последовательности ситуаций, событий, действий**. Чаще всего это реальная или воображаемая, сказочная, последовательность: “Сел Иванушка на конька – поскакал”, “Пришел. Увидел. Победил”, “Пришел. Увидел. Наследил”.

Лексическая семантика в таких конструкциях важна, но не первостепенна. В основе их заданный самой жизнью порядок перечисления. «Сяпала калуша по натушке, – рассказывает Л. Петрушевская, – и уважила бутявку и волит: “Калушата, калушаточки! Бутявка”. Калу-

шата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились <...> Калушата бутявку вычучили. Бутявка вздрезбзнула, сопритюкнулась и усяпала с напушки». При чтении этой сказки каждый хоть и по-своему видит ситуацию, но, согласитесь, эти представления будут различаться только частностями, а не общей картиной того, что произошло с калушей, ее глупыми детками и бутявкой.

Семантика результата, свойственная совершенному виду глаголов, – хоть и важный, но отнюдь не обязательный атрибут подобных конструкций. Значима и заранее задана именно последовательность элементов: “Схема, которая за несколько лет приводит здорового человека в могилу, выглядит так: отсутствие цели в жизни – обычная дурость – стечение обстоятельств – дружеское угощение экстази – проба марихуаны – кокаин – героин – крек – траурный марш”.

Реклама творчески развивает смысловые возможности данной конструкции и под видом реальной последовательности событий подсовывает желаемую рекламодателю: “Пришел. Увидел. Купил”, на худой конец: “Пришел. Увидел. Заказал”.

Следующее ментальное ограничение, задающее порядок перечисления в сочинительном ряду, – заранее известный **принцип информационного описания** или **точка зрения наблюдателя**, если ситуация описывается через восприятие автора.

В качестве самой простой иллюстрации первого ограничения назовем алфавитный принцип: например, ему соответствует всем известный ряд исключений “мэр, пэр, сэр”. Если же речь идет о восприятии наблюдателя, то перечисление может быть дано от ближнего плана к дальнему, от крупных деталей к мелким, справа налево и наоборот, сверху вниз или снизу вверх. Таких последовательностей достаточно много, но все они отражают психологические закономерности восприятия окружающего и задаются именно последними.

Жираф. Верблюд. Газель. Слоны.
Слоны. Газель. Верблюд.
Верблюд. Слоны. Газель.
Мужчина. С ним мамзель.
Газель. Верблюд. Слоны.
Сидят. Едят. Блины.

(Благов Ф.Ф. Пародия на К. Бальмонта //
Русская стихотворная пародия. Л., 1960. С. 27).

Чем еще, если не точкой зрения праздного зеваки, который крутит головой по сторонам, объясняется порядок перечисления объектов наблюдения?

Несвободной **последовательность элементов сочинительного ряда** оказывается и тогда, когда **отражает традиции, предрассудки общества**.

Например, у нас всегда была дискриминация женщин. Сам язык – умный слуга глупого хозяина – это обнаруживает. Некоторые исследователи усматривают ее, к примеру, в тяготении языка к мужскому роду. Ну когда в последний раз вы видели в аптеке провизора-мужчину? Одни женщины. А названы они почему-то словом мужского рода.

Я же хочу обратить внимание на то, что даже сказки начинаются так: “Жили-были дед и баба”, “Жили-были старик со старухой” и даже “Жил старик со своею старухой”. Обратите внимание: жили не баба с дедом, не старуха со стариком, не говоря уж о последнем контексте, где практичная, сообразительная старуха – довесок к вахлаку-старiku. Но при чем тут дискриминация? Все просто. Мы всегда ставим на первое место то, что считаем более ценным, важным, нужным. Качественное значение слов “первый”, “номер один” не об этом ли свидетельствует?

Вернемся в нашим дням. Какое обращение было принято еще недавно, кроме бесполого “Товарищи!” и казенного “Граждане и граждане!”. Некоторые представители культурной элиты сейчас обращаются к телезрителям: “Судари и сударыни!”, вошли в обиход обращения “Дорогие россияне!”, “Господа!”, как будто дамы при господах – в качестве багажа.

Если же особа женского пола оказывается в перечислении первой, то это неспроста. Об упомянутых уже *дамах* вспоминают только по торжественным случаям и при этом вежливо пропускают их вперед: “Уважаемые дамы и господа!”.

Перечисление может начинаться с *дам*, а не *господ* и в том случае, если его порядок определяют не традиции, а оценка важности реалии для говорящего. Скажем, кто важнее в известных сказках: Аленушка или ее бестолковый братец Иванушка, Белоснежка или семь гномов? И еще сказочный пример, где действуют те же закономерности: “Не разлучат нас никогда коты, невзгоды и года”. Между прочим, таким образом в известном мультике о псах-мушкетерах пудель Д’Артаньян признается в любви болонке Констанции. Как вы думаете, и чего это нес в первую очередь вспомнил о котах?

И последнее: **порядок перечисления** может быть **задан количественным соотношением** между названными в нем реалиями. Вот доказательство: “В семье, состоящей из двоих взрослых и двоих детей, за год приходится перемыть 13 тыс. тарелок, 8 тыс. чашек, 18 тыс. ножей, ложек и вилок (т.е. по 6 тыс., а это меньше 8 тыс. – Т.С.), а также несчетное количество кастрюль, сковородок, блюд, подносов, банок, бутылок”. И еще одно – смешное. У одной моей студентки учительница литературы входила в класс и говорила: “Здравствуйте, девочки!” потом спохватывалась и добавляла: “И мальчик!”. Это свидетельство подавляющего количественного превосходства: 25 девушек и 1 (один!) юноша.

А Шура́-то без штанов!

Основное смысловое правило, в соответствии с которым отбираются компоненты в сочинительный ряд – это их смысловая одноплановость. Известно несколько классических риторических фигур: зевгма, нанизывание синонимов – градация, альтернатива и антитеза, в которых это правило либо нарушается (в зевгме происходит совмещение несовместимого), либо уточняется добавочными стилистическими ограничениями. Но точка зрения говорящего, его менталитет способны накладывать более жесткие ограничения на семантику, чем это предписано логикой и стилистикой.

Например, общее правило построения описания – верный отбор характеризующих деталей, которые позволяют по описанию узнать его предмет и выделить среди аналогичных. Но есть одно ментальное ограничение: **само собой разумеющиеся, хоть и обязательные атрибуты могут лишь подразумеваться**. И тогда возникают курьезы: “Шура́ и впрямь был хорош. Перед музыкальным бомондом певец предстал в голубой водолазке, поверх которой была накинута черная кофточка в сетку, на голову повязал бандану, а ноги обул в изящные голубые сапожки с аккуратными каблучками. Пальцы правой руки украшали перстни с драгоценными камнями”. Ну подумаешь, штаны забыли – при таком подробном описании внешности.

Второе ментальное ограничение на семантику компонентов ряда состоит в том, что выбираются крайние, периферийные понятия какого-то смыслового поля, и они кратко и емко представляют всю картину в целом: “В ожидании, пока проедет президентский кортеж, бывает, водители часами томятся на трассе. А ведь среди них может быть и врач скорой помощи, который не успеет к больному, и те, кто опаздывает в аэропорт”; “Дети в этой семье практически не знают русского языка и даже матерятся как-то вымученно”; «Мое общение с миром животных ограничивалось рыночной говядиной, парой-тройкой убитых ради желудочной экзотики голубей и кормлением “кошки домашней”».

И последний пример: можно ли более кратко и емко сформулировать суть рекламного бизнеса, чем это сделали авторы материала под названием “Как нам навязывают памперсы и президентов”?

Традиционная стилистика квалифицирует примеры, аналогичные этому, как зевгму – совмещение несовместимого, алогизм. Но если вспомнить, что предмет рекламы – абсолютно все, что надо навязать любым способом электорату или потребителю, то станет ясно, что алогизма – отсутствия единства основания деления – в таких контекстах нет. Просто это основание очень широкое и предполагает любой набор понятий, объединенных какой-то смысловой общностью. И общность эта часто определяется не столько правилами логического деления, сколько особенностями нашей жизни. Еще один типичный пример: “В пятизвездочных отелях Мармариса можно встретить и на-

ших соотечественников: банкиров, руководителей акционерных обществ, начальников районных ГИБДД”. Разумеется, начальники районных ГИБДД – не банкиры или акционеры: паблисити не то. Но кто возьмется доказать, что в этом ряду они случайны? Нет, их появление в таком окружении закономерно, и мы все хорошо знаем почему.

Традиция строить описание на наиболее ярких, выразительных деталях порождает еще один типичный прием – **характеристику с помощью символов**. Символ – наиболее характерная, яркая реалья, свойственная уже не отдельному предмету или ситуации, а времени, эпохе, культуре. Так, символами семидесятых считаются хрущевки с пятиметровыми кухнями, посиделки с кухонными разговорами, текущие краны, грохочущие треснутые унитазы, мебельные стенки “Ольховка”; символами нашего времени – Макдональдсы, хот-доги, криминальные разборки, политические убийства и пр.

И наконец последнее: очень часто то, **что мы принимаем** за смысловую ошибку, **алогизм**, на самом деле **отражает индивидуальную точку зрения**. И совсем коротенький, но показательный пример в доказательство: “Президент не курит, не пьет, зато неплохо сидит на коне и ездит на горных лыжах”. Первое желание редактора или преподавателя – убрать союз “зато”: если этого не сделать, то получается что не курить и не пить – это недостаток, а не наоборот. Но учтите, что автор этого пассажа – русский мужик. Так, может быть, с его точки зрения, не курить и не пить – это действительно никуда не годится. А оговорка просто выдает то, что запрятано в глубине сознания?

Ах, обмануть меня не трудно...

Особенно когда этим заняты специалисты: рекламисты и пиарщики. В их руках наш великий и могучий становится настоящим лохотроном, который позволяет обмануть, не сказав ни одного слова лжи. Вот такой парадокс. И нередко эта правда-ложь основана на объективных свойствах языкового сознания, связанных с восприятием и интерпретацией сочинительной связи.

Важнейшее из них – **одноплановые понятия наделяются общими коннотациями**, то есть воспринимаются и оцениваются одинаково. Вот на этом свойстве успешно паразитирует потребительская и политическая реклама. Суть манипуляции в том, что в ряд понятий, воспринимаемых аудиторией с заранее заданной оценкой, на основе какого-либо случайного сходства аккуратно в конце подставляется нужное. Таким образом на него распространяется общая оценка всего ряда. А формируя исподволь положительное или отрицательное отношение к явлению, можно управлять и поведением того, у кого это отношение сформировано.

Так, в основу сюжета предвыборного фильма “Это Жириновский” его авторы положили перечисление великих сынов России. Были упо-

мянуты Пушкин, Достоевский, Толстой, Ростропович и многие другие. Но, как вы думаете, кто был последний в этом ряду? Правильно: Владимир Вольфович.

Обратите внимание, мы не говорим об очень хорошо известной риторической фигуре зевгме – совмещении несовместимого. Она тоже активно используется рекламой как выразительная риторическая формула: “Гуляешь с друзьями – гуляй с пепси-колой!”, “Рецепт хорошего пива прост: солод, холод, вода и совесть пивовара”. Но в этом случае вашим отношением не пытаются управлять так беспардонно.

Вторая закономерность, которую успешно эксплуатирует политическая и потребительская реклама – **противоположные понятия на общей понятийной шкале получают противоположные коннотации**. Достаточно выбрать любое из них, оцениваемое положительно или отрицательно, и прицепить к нему нужное на основе антитезы или альтернативы.

Так, проигрывать не любит никто – и появляется предвыборный лозунг “Голосуй – или проиграешь!”. Хотя если вдуматься, почему обязательно проиграешь, откуда, такая категоричность? Безрезультатно лечиться тоже мало кому приятно – и появляется слоган: “Героиновою зависимостью лечат везде, а вылечивают в Бишкеке”. Никто из видевших рекламу, наверняка, не забудет, где расправляются с неизлечимой болезнью. Хотя так ли это? Большой вопрос. «Мыло сушит кожу, но “Dove” не мыло. “Dove” на четверть состоит из увлажняющего крема», – сообщает реклама, забыв о том, что наличие добавок еще не дает оснований считать продукт чем-то принципиально новым. “Dove” – мыло, в которое добавили увлажняющий крем.

Во время предвыборной борьбы кандидаты во власть всех уровней включаются в интересную игру: себя, любимых, представляют поборниками правды, справедливости, совести, а оппонентов или в целом действительность обличают. Назову лишь самые распространенные темы для обсуждения: жить по закону и по понятиям, диктатура закона и диктатура, истинная свобода и вольница, демократия и вседозволенность.

Не трудно догадаться, какую позицию займет очередной кандидат, и, что интересно, точно так же поступит и его оппонент. А электорат разбирайся, кто чего стоит и кто какие цели преследует, кроме стремления попасть во власть.

Язык прессы**Кого осчастливил губернатор?*****О языке и стиле пресс-релизов***

*Н. В. МУРАВЬЕВА,
доктор филологических наук*

Хорошо известно, что пресс-релиз – это небольшое информационное сообщение, наиболее распространенный способ передачи прессе значимых сведений о предпрятии или организации, каком-либо мероприятии и один из самых популярных инструментов пиара (паблик рилейшнз). Но каким должен быть пресс-релиз, с точки зрения стиля, каковы его языковые особенности?

Известный исследователь рекламы и пиара С. Блэк так определяет основные правила подготовки пресс-релизов; 1) используйте только одну сторону листа; 2) оставляйте достаточно широкие поля слева и справа; 3) не делайте никаких подчеркиваний, даже в заголовке, потому что редакторы (газеты или журнала. – *Н.М.*) предпочитают сами решать, что нужно выделить; 4) все абзацы, кроме самого первого должны начинаться с красной строки (Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990). Вообще в пособиях для специалистов по связям с общественностью мы чаще находим правила оформления, чем правила написания пресс-релизов.

Сами создатели пресс-релизов иногда не могут точно ответить на “языковые” вопросы. Однажды я их задала участникам семинара для пресс-секретарей и услышала в ответ, что пресс-релиз пишется в деловом стиле. Правда, потом началась дискуссия, в ходе которой также утверждалось, что по своему языку пресс-релиз напоминает публичное выступление, газетный текст или даже беседу в непринужденной обстановке. Что в этих мнениях истина, а что – заблуждение?

Давайте представим себе, что пресс-релиз выдержан в деловом стиле. Ситуация делового общения такова, что за ней закрепляются стандартные языковые средства без вмешательства выразительных средств (Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. М., 1982). Это значит, что в этом случае в пресс-релизе должны использоваться слова в прямом значении, не-эмоциональная лексика, возможны распространенные предложения с большим количеством однородных и обособленных членов. И, наоборот, запрещаются слова и грамматические формы в переносном смысле, сниженная по стилистической окраске лексика, “выразительный” синтаксис, средства фоники. Но система языковых запретов выстраивается и далее: есть такие стандартные языковые единицы, которым отказано в праве появляться в деловых текстах (синонимия; собственная фразеология; замена полнозначных глаголов глагольно-именными оборотами с доминантной смысловой ролью существительного и т.д.). Запреты касаются и способа подачи информации: то, что не выражается словами, в деловой ситуации считается несуществующим. Все это направлено на решение определенных задач: передать конкретную информацию, избегая двусмысленности и шире – ассоциативности, дать факты, а не мнения и т.д. Тем самым обеспечивается прямое, открытое, максимально точное и объективное информирование адресата.

Подходят ли эти стилистические и риторические рекомендации по деловой речи для пресс-релиза? В какой-то части – да, но в какой-то – категорически нет (например, в пресс-релизе вовсе не исключаются слова с разговорной окраской; предложения не должны быть развернутыми, осложненные конструкции нежелательны).

Но, может быть, тогда пресс-релиз по своему стилю относится к публичной речи? За ситуацией публичного общения закрепляются не только стандартные, но – как обязательные – выразительные средства. В публичной речи допускаются не только открытые, словесные способы выражения информации, но и подтекст. Все это ради решения особых задач: сообщить не только факты, но и мнения, передать информацию так, чтобы она была принята адресатом, добиться согласия публики, доставить ей удовольствие – интеллектуальное или эстетическое, воодушевить или развлечь. И тогда понятно, почему обязательной составной частью выразительного фонда в публичной речи являются тропы и фигуры: они позволяют строить заключения на основе аналогии там, где рациональные аргументы оказываются недейственным средством.

Интересно привести мнение греческого философа и исследователя риторики Аристотеля Стагирита о том, как оратору следует выбирать слова: он советовал использовать не сложные, а простые, всем известные слова, сохраняя их подлинный смысл, отмечал опасность

эпитетов, некоторых сравнений и метафор и связывал уместность/неуместность того или иного выразительного средства с понятием “приятности”, понимаемым не как пустое удовольствие от слова или синтаксической конструкции, а как удовольствие, получаемое от знания. Основное назначение выразительных языковых единиц Аристотель видел в том, чтобы доставить слушателю интеллектуальное наслаждение (Античные риторика. М., 1978).

Об избирательном отношении к выразительным средствам говорил и Цицерон: “... для оратора нет ничего более существенного, важного и дивного, чем при выборе отдельных слов держаться трех наших правил: словами иносказательными пользоваться вволю, новообразованными – иногда, а устарелыми – только изредка; в общем течении речи следить за гладкостью словосочетаний и за правильностью ритма; и, наконец, всю речь разнообразить и как бы усыпать блестящими мыслями и слов” (Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972. С. 246).

В речах Сенеки, одного из лучших ораторов императорского Рима, слова и синтаксические конструкции отличаются свободой, раскованностью, он широко пользуется разговорными словами в сочетании с торжественными оборотами, часто создает новые слова.

И вновь мы вынуждены признать, что в какой-то части эти стилистические рекомендации, относящиеся к публичной речи для пресс-релиза уместны, но в какой-то – категорически нет (например, в пресс-релизе невозможно обилие иносказательной лексики, вообще тропов и фигур, сомнительна ценность новообразований и устарелых слов). С такими же “несоответствиями” мы столкнемся, если попытаемся приписать пресс-релизы к разговорной речи или языку СМИ.

Все дело, конечно, в том, что стиль всегда является производным от ситуации общения: задач, которые решаются, типа информации, которая передается, особенностей способа передачи этой информации. Основные задачи пресс-релиза – это “влияние на общественное мнение. В одном случае целью может быть получение поддержки публики, в другом – общественного понимания или нейтралитета, а в третьем – обычная реакция на запросы прессы” (Бове К.Л., Арэнс У.Ф. Современная реклама. Тольятти, 1995. С. 586). Отсюда следует, что создатель пресс-релиза стремится прежде всего к тому, чтобы его понимали и, по возможности, согласились с ним (именно согласились, под воздействием аргументов). А потому основным правилом для языка пресс-релиза будет правило *надежности*, а если еще точнее – *прозрачности*.

Как можно добиться необходимой прозрачности в пресс-релизе? Вот основные условия: предельная точность, ясность, простота и достаточность языка.

В стремлении к *точности* вовсе не обязательно ограничиваться словами в прямом значении. Но переносное значение слова не должно

создавать даже намек на двусмысленность и неуправляемый подтекст (например, в одном из пресс-релизов было написано: “накануне женского праздника губернатор осчастливил всех женщин машиностроительного завода”).

Чтобы добиться *ясности*, не стоит безоглядно выполнять требование меньше использовать слова, которые могут быть неизвестны широкой публике, – скажем, термины и профессионализмы, некоторые заимствованные слова. Но здесь многое зависит от умения так построить фразу, чтобы смысл неизвестного слова был ясен. Главное состоит в том, чтобы языковые элементы помогали увидеть в тексте его основной смысл и обеспечивали логические связи между его частями. Особого внимания требуют к себе местоимения, слова-связки, неполные предложения.

Простота языка в пресс-релизе – это обычные слова, несложные и недлинные предложения с прямым порядком слов, т.е. сначала тема, известная информация, а потом новое (впрочем, несмотря на требование краткости, предложения из двух–трех слов должны быть скорее исключением, чем правилом). Более общая рекомендация такова: стилистическая манера пресс-релиза состоит в “рассказывании”. Поэтому лучший метод сбора материала для такого текста – “разговорить” того, кто дает этот материал. Все это позволит избежать типичного недостатка пресс-релиза – помпезности, сухости и канцелярицины.

Наконец, *достаточность* языка требует жесткого количественного соответствия, баланса между используемыми языковыми единицами и суммой тех сведений, которые передаются публике. Обилием общих мест и повторов страдают многие пресс-релизы.

Конечно, это лишь общие рекомендации, которые могут послужить основой для создания добротного текста пресс-релиза.



ИМЯ ЕМУ БОГ

Об именовании верховного божества

Р. И. ГОРЮШИНА

Несколько лет назад лексика религиозной сферы еще находилась под определенным запретом: в нашей стране господствовало атеистическое мировоззрение. В словарях, издававшихся до 1990 года, даны толкования религиозных терминов с позиции коммунистической идеологии.

В постперестроечное время произошли изменения во взглядах современного российского человека на религию и веру. Активизировалось применение религиозной лексики в речевой жизни нашего народа, также возрос интерес к ее изучению и описанию.

На этом фоне явлением совершенно уникальным стал “Толковый словарь живого великорусского языка” Владимира Ивановича Даля, где объясняются не только предметы, характеризующие русский народный быт, поверья, приметы, но и даются этнографические сведения. В.И. Даль рассматривал слова религиозной лексики, так как они широко употреблялись в живом языке его времени. Эта лексика была представлена и в толковых, и в энциклопедических светских словарях.

Во всех мировых религиях всевышнего творца называют *Бог*. *Бог* – это образ, высшее божество, наделенное сверхъестественными свойствами, являющееся главным объектом поклонения во многих мировых религиях. В них Богу присваиваются качества всесовершенной личности, создавшей мир и управляющей им в соответствии с собственной волей.

В Ветхом Завете неизреченное Имя Божие – *Ягве* (*Яхве*). *Ягве* – значит Бог, имеющий сам в Себе принцип Своего бытия. Это имя можно привести четырьмя формулами: 1. “Я есмь, Который есмь”, “Я есмь Сущий” – самобытность Бога. Бог – самобытен, независим, безусловен, вечен. 2. “Я буду, Который есмь” – вечность, неизменяемость. 3. “Я есмь, Который буду” – утверждение Бога. 4. “Я есмь, Который причиняет бытие”. В Ветхом Завете встречаются некоторые собственные имена, происходящие от того же корня, так называемые

“теофорные”, например, *Илия, Исаия*. Бог открывается в Ветхом Завете посредством Своих имен, например: основные – *Бог, Господь, Владыка* (рус. формы); *Эл, Элаг, Элогим, Ягве (Иегова), Адон* или *Адонач* (древнеевр. формы). Составные – *Бог Всемогуший, Бог Всевышний, Бог Вечный, Бог Крепкий* (рус. формы); *Эл Шаддаи, Эл Элион, Эл Олам, Эл Гиббор* (древнеевр. формы) и т.п. (“Библия. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета”. Брюссель, 1973).

Следует отметить что в “Большом толковом словаре” С.А. Кузнецова отсутствуют арамейское и еврейское название Бога, тогда как в Словаре Даля данные именованья имеются.

Как видно из приведенных примеров, основную группу божественных имен в русском эквиваленте составляют *Бог, Господь, Владыка*.

Сравним трактовку данных наименований по Словарю Даля и “Большому толковому словарю”.

В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля “**Бог м.** Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, Всемогуший, Предвечный, Сущий, Сый, Господь; Предвечное Существо, Создатель вселенной (...) *Богом* называют также вообще высшее существо, по понятию того народа, о коем говорится, а потому *боги* мн. означает и мнимых создателей и управителей вселенной, у различных идолопоклонников, и самые идолы или истуканы их зовутся *богáми, божкáми, божествáми*” (Т. I).

“Большой толковый словарь русского языка” (С.А. Кузнецова (БТС) дает такое определение слова *Бог*: “... По религиозным представлениям: творец неба и земли, всего сущего; всеведущий высший разум, управляющий миром; вообще мировое начало имеет множество имен: *Творец, Создатель, Всевышний, Вседержитель, Всемогуший* и др.; в христианстве един в трех лицах: *Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой*” (СПб., 2000).

Таким образом, в Словаре Даля раскрывается сущность Бога, тогда как в БТС Бог рассматривается как ипостась определенной религии, как культ для подражания.

Господь, “встарь, государь, господин; ныне, Всевышний, Владыка, Бог, Создатель” (Даль. Т. I); по БТС – “одно из имен Бога”. Известно, что в еврейской традиции (*Господь* – евр. *Иегова*) имя Бога считалось столь священным и таинственным, что в книгах вместо него употреблялось *Адонач*, т.е. “Владыка”.

По Словарю Даля, *Владыка* – “господин, обладатель; верховный правитель, государь; архипастырь; архиерей, а также священник во время богослужения” (Даль. Т. I). БТС определяет его как “повелитель и властелин”.

Составители обоих словарей сходятся в том, что *Владыка небесный* – это Господь, Бог (Там же). В “Новом словаре русского языка. Толково-словообразовательном” Т.Ф. Ефремовой *владыка* рассмат-

ривается в двух значениях: “1. Правитель, облеченный всей полнотой власти; властелин. 2. Архиерей (обычно с оттенком почтительности)” (В 2 т. М., 2000).

В Священном Писании, кроме того, для обозначения верховного божества употребляются также наименования, как Всемогущий и Всевышний.

Под именем *Всемогущий* Бог, по свидетельству Библии, являлся Аврааму, Исааку, Иакову: «И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку, и Иакову *с именем*: “Бог Всемогущий”, а с именем *Моим*: “Господь” [Иегова] не открылся им» (Исход. 6,1–3). Слово *всемогущий* семантизируется в толковых словарях как “обладающий неограниченным могуществом”, указывается его принадлежность к высокому стилю. Однако данное слово не рассматривается как “одно из имен Бога”.

Имя Бога *Всевышний* употребляется в Библии в Первой книге Моисея Бытие. И связано это с тем, что Богу в конфессиональной литературе практически любой религии везде дается высшее духовное совершенство. Например: вечность, независимость, самобытность, неизменяемость, вездеприсутствие, всеведение, премудрость, правосудие, благодать; любвеобильность, святость, истина, творчество, всемогущество, беспредельное величие и слава. Бог – Всевышний, так как по религиозному канону “Бог промышляет, Бог царствует, Бог судит, Бога должно любить, восхвалять, уповать на него, повиноваться Ему”.

В настоящее время сфера употребления данных слов различна. Такие лексемы, как *Бог*, *Господь*, чаще употребляются в разговорной речи, а *Всемогущий*, *Творец*, *Создатель*, *Всевышний* остаются торжественными названиями Бога и используются в книжной речи (*Творец*, *Создатель*), в богослужебных обрядах (*Всевышний*).

Обращает на себя внимание тот факт, что сегодня религиозная лексика не пополняется новыми образованиями. Она стабильна – по сравнению с изменяющимися сферами человеческой деятельности, постоянна и до сегодняшнего времени представляет собой довольно устойчивую систему, которая, тем не менее, активизировалась в современном русском языке.

Волгоград

Названия документов в XIX веке

*А. Н. КАЧАЛКИН,
доктор филологических наук*

XIX век занимает в истории русской документации и соответственно в наименовании документов не похожее на другие эпохи место. Историю наименований документов этого столетия лучше начинать с 1810 года – времени издания Закона “Учреждение Государственного Совета” и последовавшего за ним в 1811 году “Учреждения Министров”.

Учреждение Министерств вместо прежних Коллегий, иной порядок ведения, обсуждения и решения государственных дел породили единообразие документирования и жесткого регламентирования как формуляров, так и названий документов. Для их наименований были взяты в большинстве своем уже употреблявшиеся слова. Сущность того или иного дела с XIX века раскрывается уже в его заглавии, объединявшем несколько или даже очень много документов (в деле о сенаторе Безродном число страниц разных документов составило 23000). Для филолога, исследующего документы XIX века, отпадает потребность в источниковедческом поиске разнообразных по своим вопросам дел, где сущность события отражалась обычно наименованием документа. Названия документов определенного назначения теперь представлены в специальных руководствах по делопроизводству и канцелярской практике. Интерес филолога к деловым текстам XIX века с анализа наименования документа смещается в сторону анализа названий дел, принципов формирования заглавий текстов документов. Ведь в первую очередь нас привлекает в имени и его анализе сущность именуемого явления; в деловой речи – сущность события, дела. Когда наименование употребляется лишь по традиции и перестает раскрывать внутреннее содержание текста, “сущностные” слова приходится искать в иных элементах текста.

Особенное внимание в исполнительном делопроизводстве уделялось переписке, сношениям центральных и местных учреждений. Для каждой части министерского аппарата закон скрупулезно определял ее права, обязанности, порядок производств дел и движения документов.

К министру через его канцелярию поступали прежде всего *Указы, Повеления и Постановления* верховной власти.

Представления от подчиненных органов направлялись министру только по делам особой важности или срочности, требующим нового

Постановления. На имя министра подавались, кроме того, *Отзывы* на его *Предписания* и *Жалобы* на действия департаментов.

В департамент (вторая ступень министерского аппарата) поступали документы прежде всего для исполнения предписания министра. Департаменты вели переписку с другими равными, а также подчиненными учреждениями, получали представления учреждений и должностных лиц. О своей работе они представляли министру отчеты в виде *Сведений* и срочных *Ведомостей*.

В канцеляриях министра и департаментов велись *Общие* и *Частные журналы*, в которых регистрировались все поступающие документы: *Указы*, *Постановления*, *Обыкновенные бумаги*, *Секретная документация*. Естественно, название документа как представителя целого текста должно было быть не только единообразным, но абсолютно одинаковым.

В исполнительном делопроизводстве был поначалу распространен коллежский порядок составления документов: каждый последующий документ начинался с повторения, слово в слово, всех предшествующих документов по данному делу. Дела при этом достигали огромных размеров. В 40-е годы XIX века такой порядок изложения заменяется более или менее детальной справкой, первоначально называвшейся *Экстрактом*, а затем переименованной в *Выписку*. Эти новые вторичные тексты для обработки первичных документов усиливали функции ключевых слов и синтезирующих речь оборотов, что получало свое рациональное отражение и в наименованиях самих дел.

Экстракты сопровождался *Докладными записками*, причем слово *докладной* в этом терминологическом названии было ближе к исходной внутренней форме, чем это стало впоследствии. К изложению существа дела в *Записке* “докладывались” *Экстракт* или *Выписка*, ссылки-цитаты из соответствующих законодательств, текст *Резолюции*, как в то время назывался проект решения по делу.

Особую группу в исполнительном делопроизводстве представляла так называемая просительская документация: *Прошения*, *Жалобы*, *Доносы*, *Отзывы*. В сравнении с прежними *Челобитными* у *Прошений* отмечается больше разновидностей: *Исковые*, *Явочные*, *Встречные*, *Мировые*. Перечисленные разновидности образуют терминологические словосочетания, отражающие различия прошений в содержании и форме; другие определения являются “ритуальными” и терминологических сочетаний не образуют: *всепокорнейшее*, *покорное*, *покорнейшее*, *рабское* и др. под.

Самую большую группу представляли акты укрепления права собственности на имущество. В крепостных актах документировались отношения, связанные с недвижимым имуществом и владением крепостными людьми. В этой семантической группе больше всего исконно русских слов, тем более что документы с этими названиями сохранили

основное содержание и форму еще с XIV–XVI веков. Однако теперь *Купчие* и *Закладные крепости*, *Дарственные записи* утверждались как тип документа с определенным названием от имени закона. В этой тематической группе базовые слова-именования еще более дифференцированы определениями, нежели в предыдущей: это *Закладные*, *Отказные*, *Раздельные*, *Запродажные*, *Наемные*, *Рядные*, *Подрядные записи*; *Духовные завещания*, *Заемные* и *Верующие письма* (верующее письмо – “доверенность”), *Росписи приданого* и другие подобные.

В письменном деловом общении XIX века были такие случаи, когда автор обязательно называл создаваемый им текст: *Указ*, *Рапорт*, *Донесение*, и т.п. Другие тексты деловых отношений, имея внешне завершенный вид, оставались “беззаглавными”. Разновидность такого делового письма определялась в зависимости от положения корреспондентов на иерархической лестнице и связанной с этим иерархией документов. Беззаглавными, в частности, были *Отношения*, *Предписания* и *Представления*.

Близки к документам, но по строгой оценке не являются ими, официальные письма – обобщающее название текстов служебного назначения, соблюдающих правила и формальности изложения дела в сочетании с личными обращениями и концовками личных писем. В связи с известной невыдержанностью формуляра и эклектичностью стиля оказываются непоследовательными и не до конца продуманными названия разновидностей этих официальных писем.

В именовании собственных документов и в классификационных терминах типов деловых бумаг преобладают собственно русские слова: *Входящие*, *Докладные*, *Заключительные*, *Определительные*, *Исходящие бумаги*; *Сношения присутственных и должностных лиц*; просительные дела и бумаги и среди них *Прошения тяжёбные*, *исковые*, *явочные*, *встречные*, *мировые*, а кроме *Прошений* *Ответы*, *Возражения*, *Опровержения*, *Объяснения*, *Отводы*. Разновидностями *Прошений* были *Доносы* и *Жалобы*, в описываемой тематической группе среди *Жалоб* встретились лишь два термина иноязычного происхождения, *Апелляционные* и *Кассационные жалобы*.

Регулярное, широкое использование названия документа для разнообразных ситуаций требует детального представления и особенно каждой из них, поэтому название вынужденно получается объемным. Возникает потребность в емком его представлении, и для этой цели, если позволяет лексический состав, употребляются семантически более содержательные и глубокие синонимы или же производится замена ключевого слова имени документа на другое слово, передающее более частное понятие жанра. Так, например, *Договор морского страхования против всех опасностей*, замененный со временем на *Страховое обязательство*; возможно, были и замены развернутого словосочетания на термин иноязычного происхождения, например, *Договор о найме корабля под груз* на *Чартепартия*.

Со временем складываются довольно самостоятельно, а затем и профессионально конструируются системы специальных документаций: дипломатической, судебной, военной, коммерческой и других. Среди названных особенно тщательно регламентировалась законом судебная документация.

В состав судебного дела обычно входили *Рапорт*, *Доклад*, *Объявление* (о том, что случилось), или *Исковое прошение*. Иногда дело начиналось с *Местного постановления* (акта, составляемого на месте происшествия). Далее дело обрастало *Предписаниями*, *Донесениями* “властей с мест по вопросам следствия”. В первой половине века в состав дела включались *Допросные сказки*, но позднее они заменились на *Допросы*, *Дознания*, или также употреблялись *Клятвенные обещания*, впоследствии названные *Присягами*.

Документами судебных инстанций являлись *Решения* и *Определения*, которыми дело не решалось, в них “присутствием” выяснялись связанные с делом обстоятельства. *Решения*, *Определения*, *Мнения* представлялись на ревизию высшего суда с указанием степени виновности подсудимого. Окончательные постановления о степени вины и о наказании назывались *Приговорами*. *Приговор* мог иметь синонимический вариант *Решительного определения*, которым решалось существо дела.

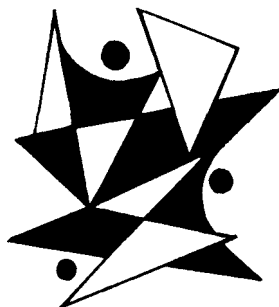
Еще более дробной была терминология судебных сношений между официальными лицами – это разного рода *Представления*, *Сообщения*, *Доношения*, *Рапорты*, *Объявления*. Каждое из приведенных названий документов имело по несколько разновидностей. Различными по наименованиям были и исходившие из суда документы. Так, *Повестки*, направляемые мировым судьей разным лицам, отражали в названии разнообразные имена адресатов: *ответчику*, *третьему лицу*, *истцу*, *свидетелю* и другим подобным.

Установленный порядок делопроизводства существовал и в военном Министерстве. В 1834 году было издано *Положение о сокращении переписки в войсках*. Это *Положение* устанавливало правила производства в канцеляриях полков, бригад, дивизий, корпусов, причем предусматривалось единство и взаимозависимость документации соподчиненных воинских частей.

Например, в составе документации полковых канцелярий этим *Положением* предусматривались: *Журналы входящих и исходящих бумаг*; *Алфавит дел и бумаг*; *Высочайшие приказы*; *Приказы начальствующих лиц*; *Постановления за каждый год*; *Книга приказов по полку*; *Алфавитные списки офицеров и рядовых*; *Формулярные и кондуитные списки чинов*; *Книги комиссариатские провиантские*; *Журнал переменах вообще до полка относящимся*.

Рост качеств и количества специальной документации непрерывно продолжался.

Из истории политического лексикона XX века



ЦВЕТОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Прилагательные, обозначающие цвет, на протяжении своей истории традиционно привлекали внимание человека для выражения различного отношения к предмету или символизируя те или иные сущности. В разные эпохи и в различных культурах цветовая символика значительно варьировалась, зачастую вплоть до приобретения противоположных ассоциаций.

В Древней Руси на семантику и символику цветовых прилагательных славян-язычников наложилась христианская символика цвета. Например, *красный* в народном сознании отождествлялся с радостью, солнцем, красотой, *зеленый* – с водой, водяными и русалками, болезнью или тоской; *черный* – с низкими или опасными местами, злом, колдунами и ведьмами и т.д. В Библии во многих случаях цвета соотносятся с морально-нравственными понятиями и обозначаются не прямо, а при помощи сравнений с конкретными предметами: *белый* – сравнивается с зубами или молоком, *красный* – с чечевичной похлебкой, коровой или скалой (часто *красный* и *коричневый* не различаются), *зеленый* (практически неотличимый от *желтого*) – с кустами и деревьями. Хорошо известно, какое большое значение придавалось символике цвета в христианстве: *белый* – символизировал радость, невинность или великолепие, *черный* – несчастье, скорбь, и порчу, *красный* – грех. В христианской иконописи (особенно в православии) символика цвета играет чрезвычайно важную роль.

В Новое время в русском языке после интенсивных контактов с Европой цветовая символика испытала сильное влияние со стороны

европейских языков и культур: с конца XVIII века – французского, с начала XX века – английского. Заимствование новых значений цветowych прилагательных (иногда их именуют колоризмами) проходило в области политической, художественной, а не религиозной, как в древнерусском языке. В конце XVIII века в русский язык заимствуются новые, переносные, значения прилагательных *красный* “революционный”, в первой трети XIX века – *белый* “монархический”. Эти слова стали родоначальниками сложения модели в русском языке при обозначении политической позиции. К концу XIX века эта семантическая модель стала популярным языковым механизмом, например, существование в литературе второй половины XIX века синонимического контекстуального ряда с опорным прилагательным *красный* для выражения значения “прогрессивный, революционный”: *багровый, амантовый, багряный, ультра-пурпурный, инфракрасный*. В 1906 году М. Горький, побывав в США, назвал памфлет “Город Желтого Дьявола” (о Нью-Йорке), используя традиционную библейскую метафорику и сблизив семантику выражения *золотой телец* (в Библии: поклонение власти денег) с прилагательным *желтый* на основании качества цвета.

Переносные “политические” значения приобретали прилагательные и в составе названий русских исторических реалий. Издавна на Руси существовало разделение городского населения на сотни, это помогало как при сборе налогов, так и в минуты опасности, позволяя быстро организовать военные отряды. Так, еще в древнерусском языке отложилось два основных значения слова *сотня* “городское население, не имеющее льгот и облагаемое налогами (так называемая *черная*; в смысловой оппозиции *белой* – “имеющей льготы”)”; “2. воинское подразделение в русском войске”. В начале XVII века термин *черная сотня* оказался актуализированным, когда под руководством Минина и Пожарского создавались отряды горожан-ополченцев (преимущественно из мещан, платящих подать, т.е. *черных*) для защиты от польских интервентов; подразделение в этом войске получило обозначение *черной сотни*.

В первой половине XIX века под *черной сотней* понимали “низший класс городских обывателей” в ряду других категорий городских жителей, разделенных на сотни, – “гостиной и суконной” (Словарь церковнославянского и русского языка. СПб., 1847. Т. 4). Впрочем, этот термин в демократической публицистике второй половины XIX века начинает приобретать иронические коннотации, обусловленные тем, что представители кушцов, мещан, других мелкобуржуазных слоев в городской Думе часто выступали как осторожные и тугодумные заседатели, защитники старых порядков.

Современное значение *черной сотни* появилось в начале XX века. Одним из дополнительных стимулов развития в прилагательном *чер-*

ный современного “политического” значения послужил следующий лингвистический факт. В 1906 году в сатирическом журнале “Зритель” была опубликована карикатура: 25 черных фигурок (среди них легко угадывался Николай II), которые символизировали правительство и монархию. Эту группу черных фигурок тотчас же окрестили *черной сотней* – название охотно подхватили как сторонники монархии, так и революционеры. Первые в этом обозначении видели позитивный прагматический смысл апелляции к истории и идею защиты страны от “новых захватчиков – революционеров”, вторые в это словосочетание вкладывали негативный политический смысл: охранители старых порядков, монархического режима. Интересно, что именно разный прагматический потенциал выражения позволял его использовать в монархически настроенных изданиях с позитивной коннотацией (в охранительной газете “Московские ведомости”. 1906. № 141 было опубликовано “Руководство черносотенца-монархиста”), в оппозиционных или демократически ориентированных – с резко отрицательной и презрительной. Таким образом, приобретение прилагательным *черный* нового, политического значения произошло уже на русской языковой почве, а не было калькировано, что может свидетельствовать о сложившейся (принятой и усвоенной) семантической модели в русском языке.

Во время первой русской революции 1905 года в публицистике политические смыслы приобрели также прилагательные *желтый* “изменнический, предательский” – калька с английского *yellow* в переносном значении “продажный, соглашательский, идущий на уступки” (преимущественно в большевистской и вообще “левой” прессе), *голубой* “жандарм, охранник в тюрьме (по голубому цвету мундира)”, *серые* “социалисты-революционеры” (*серый* ~ *сир*; звуковое сближение с начальными буквами *с*[оциалисты] и *р*[еволюционеры]), *розовый* “половинчатый, неопределенный по своим политическим позициям” (ср. даже “оттеночный” характер употребления данного слова – *бледно-розовый* “крайне осторожный в проявлении своих политических пристрастий”).

Именно большевистский лексикон и его прагматические оценки в послереволюционное время определили семантику цветовых прилагательных в политическом контексте. Единственным словом с “положительной” семантикой и позитивной прагматикой в советское время являлось *красный*, все другие цветообозначения политического спектра оценивались относительно него – отрицательно. Цветовые прилагательные служили яркими знаками-метками, были подобны подпольным прозвищам или кличкам для отделения “своего” от “чужого”. Так, С.И. Карцевский писал: «[В эпоху 1905 г.] сравнительно мало употребляется слово *красный* для обозначения революционеров, очень ходовое, напротив, в прежнее (70–80-е), когда для широкой пуб-

лики не существовало различия партийных толков среди революционеров. Зато вся гамма цветов применяется в наши дни, *белые*, *черные*, *зеленые* (дезертиры), *желтые* (социалисты – “соглашатели”), *розовые* (те же в лексиконе правых)» (Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин, 1923). Парадокс языковой и политической жизни слова, однако, заключался в том, что все политические, кроме *красного*, “цвета” были – в принципе – сведены в большевистской прессе – 20–30-х годов к одному – *белому*; всё, что не было красным, оценивалось как *белое*: “Белыми большевики называют всех, кто не с ними” (Там же).

Так сформировался советский двоичный политический код: общая семантико-идеологическая оппозиция *красного* – *белому* протекала в области нейтрализации “не-красных” цветов политического спектра и приведению их всех к одному “общему знаменателю” – *белому* цвету: “И тут каким-то особым чутьем солдата гражданской войны, умеющего с лету понимать, кто перед ним – дезертир, зеленый, снухавшийся с беляками, или сам беляк, – Игнат распознал истинное нутро Баншикова. Не иначе как бывший зеленый” (М. Жестев. Тархановы).

Использование прилагательных *красный* и *белый* в “политическом” значении было активным не только в анархических изданиях, что вполне объяснимо (общий со всеми революционными партиями и группами период подпольного или полунелегального революционного движения), но эти прилагательные достаточно широко проникли во многие другие издания – монархистов, демократов, кадетов.

Демократам были одинаково ненавистны как *красные*, так и *белые*. Однако гораздо чаще *красный* в демократических или кадетских газетах выступал в смысловой оппозиции *черному* “монархический”, чем *белому*: “политический” смысл прилагательного *черный* сложился в языке еще в дореволюционную эпоху, у прилагательного *белый* “политический” смысл еще находился в стадии формирования и был не вполне ясен. Впрочем, оба термина оцениваются отрицательно: «Какую же огромную моральную поддержку оказывает “Humanité” грядущей реакции, провозглашая, что для России нет другого выбора, как только между красной или черной диктатурой!» (Возрождение. 1919. 12 окт.); “Мы боремся против обеих диктатур, против красного и черного разложения, боремся за те идеалы народовластия, к которым неизбежно придет русский народ...” (Воля России. 1920. 19 сент.) Карцевский заметил, что “в эмиграции выделяют крайне правых... как *черных* (ср. *черная сотня*, *черносотенник*)”; “...в эмиграции... ожило слово *черный* для обозначения крайне правых” (Указ. соч.).

Приведенные примеры показывают, что в демократических газетах происходит семантическая нейтрализация прилагательных *белый* и *черный* в общем переносном значении “монархический, реставраторский по своим убеждениям”. Языковые антонимы становятся кон-

текстуальными (публицистическими) синонимами в языковом употреблении одного политического течения, направления.

Оттенки *красного* в политическом значении для обозначения разной степени “близости” к коммунистической идеологии активно использовались эмигрантами, в языковом плане это находило выражение в развитии у слов *полукрасный*, *розовый*, *розоватый* нового значения “прокоммунистический, сочувствующий большевикам, СССР”. Использование этих прилагательных было свойственно в особенности монархическим, профашистским или “народно-патриотическим” изданиям: “Почему СЖТ [Генеральная Конфедерация Профсоюзов. – А.З.] ведет именно теперь такую усиленную агитацию? Русских белых нужно перекрасить в красных или, по меньшей мере, в розовых” (Возрождение. 1937. 20 нояб.); “Потерпевшая тяжелое поражение в Каталонии и оставленная на милость победителя своими друзьями – красной Москвой и розовой Францией – красная Испания агонизирует. Восстания и перевороты в красном стане – это последние конвульсии” (Русский голос. 1939. 12 марта); «Не нахвалится народная масса и в Италии своим фашистским правительством, имеющим во главе обожаемого всем народом сильного вождя Муссолини. Число членов партий фашистов все время увеличивается. Если сравнить, что было три года назад, при правительствах всяких розовых и розоватых “соглашателей”, то Италию прямо не узнать. Вся страна точно воскресла» (Русская правда. 1925. сент. – окт.).

У слова *розовый* в русском языке с 40-х годов XIX века существовало только “неполитическое” значение “безмятежный, романтический, не омраченный заботами”, вычлененное из французского калькированного выражения *видеть в розовом свете* (*voir en rose*) и употребляемое первоначально в художественной литературе. Прилагательное *розовый* развило переносную “политическую” семантику уже на русской языковой почве, поскольку исторические словари французского, английского, немецкого языков не фиксируют данного значения. Только с начала 80-х годов XX века во французском языке прилагательное *rose* “розовый” начинает ассоциироваться с социалистической партией.

Слово *красный* вступало в сочетание с другими прилагательными политического спектра: *зелено-красный* – «Зелено-красный фронт [название заметки]. “Зеленые” между Петроградом и Ярославлем разобрали железнодорожный путь на расстоянии 100 верст и образовали новый фронт. Они имеют орудия, и большевики их очень боятся» (Возрождение. 1919. 8 окт. № 82); *зелено-розовый* – «В конце марта Лебедева передавала по прямому проводу во Владивосток: {...} “Создание “буферного государства” [в Николаевске] считаем зелено-розовой контрреволюцией”, а то, что некоторые коммунисты поддерживают эту идею, считаем глубокой ошибкой...» (Анархический вестник. 1923. № 2). В анархических изданиях происходит смыкание

понятий “коммунистический”, “монархический” и “фашистский”, их семантическая (прагматико-идеологическая) нейтрализация и образование сложных прилагательных *красно-фашистский* и *бело-фашистский*: “Т-щи [товарищи] рабочие, крестьяне и революционные социалисты Запада и Америки! Мы вам сообщаем об этом факте издевательства [расправы над участниками вечера памяти П.Л. Лаврова] над революционными социалистами России (...) не для того, чтобы поразить ваше воображение. Этот факт тонет в море подобных и еще более возмутительных фактов, имеющих место везде, где трудящиеся ведут борьбу за свои права, встречая отпор как со стороны красно-фашистской, так и бело-фашистской реакции” (Анархический вестник. 1923. № 2).

Словарь Ушакова отмечает прилагательное *зеленый* (*зеленые*) как кратковременный историзм, толкуя его следующим образом: “крестьянские отряды во время гражданской войны 1919–1920 гг., составившиеся из дезертиров и ведших борьбу гл[авным] образом] против белых, действуя у них в тылу, но также иногда и против красных, являясь в этом случае орудием кулачества”. В эмигрантской прессе это слово встречается также только в эти годы: «В ночь на 20-е августа многочисленная банда “зеленых” напала на Бешуйские угольные копи, разграбила кассу, взорвала пороховой погреб (...) и после перестрелки ушла» (Воля России. 1920. 17 сент.).

Прилагательное *желтый* продолжает использоваться эмигрантами, хотя в послереволюционное время в советском дискурсе оно становится маркером буржуазной жизни. Интересно, что до революции 1917 года в прилагательном *желтый* (в калькированных из французского *syndicats jaunes* или английского *yellow syndicates* – *желтые профсоюзы*) резко отрицательные коннотации присутствовали преимущественно в большевистской прессе, находящейся на периферии общественного внимания и оценок; в демократических изданиях в сочетаниях *желтые синдикаты*, *желтые объединения*, *желтые профсоюзы* прилагательное могло значить “мирное улаживание всех споров между предпринимателями и рабочими” (Г.Ч. Словарь по рабочему вопросу. Краткая энциклопедия по вопросу о положении рабочего класса в России и за границей. Изд. 2. 1917 – Цит. по: Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века. М., 1981). Бескомпромиссность политической борьбы и резкое противопоставление всему капиталистическому, уничтожение всех иных, кроме большевистских, изданий способствовали закреплению в прилагательном *желтый* в советском языке негативной социально-языковой оценочности. Так, в Словаре Ушакова: “работающий в сотрудничестве с капиталистами, реформистский (о профсоюзах; презрит., в языке революционеров)”, сближаемое семантически и прагматически со словом *штрейк-брехер(ский)* с однозначно негативной оценкой.

Прилагательное *желтый* было свойственно обычно анархическим или кадетским эмигрантским изданиям, где его семантика и прагматика близки употреблению в социал-демократическом (и большевистском) лексиконе: “В духовной жизни русской эмиграции здесь [в Нью-Йорке] виден распад, но не заметно сложение. Рассыпались большевизанские группы. Антибольшевицкие группы тоже не расцветают. Одно время заметное место заняли были анархисты. Полгода тому назад их газета, утратив в Нью-Йорке влияние, перешла в Чикаго, ее руководящая группа слилась с обществами взаимопомощи, анархизм принял совсем желтые тона” (Дни. 1926. 19 нояб.); «... центр тяжести в обвинениях третьего интернационала против этой федерации [тред-юнионов] как раз и заключается в том, что она [федерация] ведет “желтую” политику компромиссов» (Руль. 1920. 2 дек.).

Прилагательное *черный* в демократических и анархических изданиях часто употреблялось в составе устойчивых сочетаний – *Черная сотня* или сложных слов – *черносотенцы*, *черносотенный*, *черносотенство*, идущих еще из дореволюционного языка: «... господствующая сейчас в России коммунистическая партия как партия порядка и твердой власти начинает импонировать даже черносотенным монархическим элементам, вот почему крепнет и усиливается “сменовеховство”, возглавляемое правыми октябристами. Бобрищевым-Пушкиным, Ключевским и правым крайним монархистом Шульгиным» (Анархический вестник. 1924. № 7); «Под несомненным давлением французов, решивших устроить на Крымском полуострове нечто вроде “union sacré” всех “патриотов”, туда выезжают: Гучков, Маклаков, Могилянский, Моркотун, Климович, Гурко, Цитович, приглашены (...) Каменка, Второв, Денисов, Милюков, граф Коковцев, Третьяков и целый сонм кадетов, профессоров, миллионеров и черносотенцев» (Воля России. 1920. 17 сент.), «... для “Humanité” лучшие и просвещенные люди, “*élite*”, воплощаются в образе Лениных, Троцких, Луначарских etc., тогда как “Призыву” [монархическая газета в Берлине. – А.З.] эта “*élite*” рисуется в образе ныне выступающих на авансцену истории полковников Бермонтов, баронов Паленов, сенаторов Римских-Корсаковых и прочих бывших и будущих героев реакции и черносотенства» (Возрождение. 1919. 12 окт.).

Зарождение в Германии и Италии фашизма в демократических эмигрантских кругах вызывало большую тревогу. Из итальянского языка во многие европейские языки калькируется слово *чернорубашечник* – итальянское *camicia nera* (по цвету черных рубашек первых фашистских групп Муссолини, созданных в 1922 г.); существуют эквивалентные кальки в других европейских языках: английское *black shirt* – *blackshirted*, французское *chemise noir*, немецкое *schwarzes Hemd*. Немецкое *Hakenkreuz* “сторонник, последователь фашистской идеологии” (от существительного *Hakenkreuz* “крест в форме свастики”) пе-

редается близким по смыслу и прагматическому потенциалу русским словосочетанием *черная сотня*, сторонники национал-социалистического движения в Германии называются *черносотенными элементами*: "...один из подсудимых – немцев стоит во главе реакционной политической организации в Баварии и участвовал в пресловутом Гитлер-Людендорфском путче, другой печатал в своей типографии немецкие черносотенные брошюры и пр." (Сегодня. 1930. 9 янв. № 9); «Так называемое национально-социалистическое движение в Германии, группирующееся вокруг гитлеровских "Hakenkreuzer" (черная сотня) идет по тем же следам и, без сомнения, имеет влияние на известные круги немецкого рабочего класса, особенно в Баварии» (Анархический вестник. 1923. № 5–6); «Черная сотня [название заметки]. Берлинские газеты единодушно сообщают, что коммунистические отряды, пытавшиеся сорвать организованную социал-демократами грандиозную манифестацию протеста против реакции, были набраны среди самых темных элементов берлинского лумпен-пролетариата (...) Эти черные сотни не могли помешать рабочей манифестации. Но на одно они все же способны: это терроризировать отдельных людей» (Дни. 1925. 31 янв. № 679).

В анархических кругах *черный*, помимо общего с демократическими изданиями употребления его в значении "монархический, крайне правый по убеждениям", имело также "собственно анархическую" семантику и символику, которые были связаны с историческими событиями. В ответ на расстрел 21 ноября 1831 года в Лионе манифестации уволенных ткачей вспыхнуло восстание, на баррикадах тогда впервые взвился черный флаг с крестом и прозвучал девиз: "Жить работая или умереть сражаясь!". *Черный* цвет знамени символизировал отчаяние и нищету рабочих. *Черный* стал рассматриваться как антимонархический цвет – в противовес *белому*, цвету французской монархии Бурбонов. Во время восстания в Париже 5–6 июня 1832 года повстанцы подняли красное знамя. С этих пор *черный* и *красный* считаются двумя основными цветами анархизма вообще. Широкое распространение черного знамени связывают с Лондонским (14–20 июля 1881 г.) конгрессом, когда было провозглашено воссоздание Международной ассоциации трудящихся ("Черного Интернационала"). *Черный* цвет знамени был принят анархистами Франции, России, Польши, Германии, Италии, Северной Америки.

Анархические издания используют прилагательное *черный* в составе терминологических сочетаний *черный крест* (общество, группа анархистов-социалистов), *черный интернационал* (= анархический): "Лиза, однако, благополучно бежит из Одесской тюрьмы, а Меккель, попав в концлагерь, в первый же день там сильно избивается и – вследствие шума, поднятого по этому поводу Одесским Черным Крестом, а также ввиду последовавшей в скором времени ликвидации

концентрац[ионных] лагерей, – вовсе освобождается” (Анархический вестник. 1923. № 1); «...в Москве власть еще терпит кое-какие легальные учреждения, как книгоиздательство “Голос Труда”, карелинский Черный Крест и Музей имени Кропоткина...” (Анархический вестник. 1924. № 7). Приведенные цитаты характеризуют *черный* как “позитивный” цвет в контексте всего анархизма. Однако промонархическая газета оценивала выражение *черный интернационал* так: «“Черный, желтый и красный интернационал против русского народа”, – протестует ужгородская газета “Русский народный голос”, выражая свое недоумение, как коммунисты могли объединиться с фашистами, а безбожники со служителями церкви» (Возрождение. 1937. 20 нояб. № 4107).

Таким образом, семантика и прагматика цветowych прилагательных в эмигрантской публицистике первой и второй “волн” показывает их распределение по различным партийно-политическим изданиям, прагматический компонент значения оказывается ведущим для оценочных характеристик данного класса прилагательных в политических контекстах. Это обусловлено тем, что вторичные (“политические”) значения прилагательных формируются фоновой “отсылкой” к политической позиции. В эмигрантском “круге жизни” прилагательные – при всей непримиримости идейных и мировоззренческих установок людей – **продолжали** свою языковую жизнь (с дореволюционных или послереволюционных времен), **развивали** новую семантику и прагматику применительно к изменившимся социально-политическим условиям и **сосуществовали** в едином противопоставлении *красному*, номинативное значение которого “советский, коммунистический” было слито с прагматическим компонентом значения “насилованный, рабский”. Советский дискурс оперировал *красным* как единственно “правильным” цветом политического спектра, насыщая его новыми смысловыми оттенками и сгущая его во всеобъемлющий символ пролетарской революции. Одновременно с этим шло вычеркивание всех других “цветов”, которые квалифицировались в словарях как “историзмы” (*зеленые, белые*) или реалии зарубежной (капиталистической) действительности (“экзотизмы”), враждебные “красному”.

Санкт-Петербург



ОКРАИНЫ МОСКВЫ

От Аминьева и Бескудника до Чертанова и Ясенева

А. Л. ШИЛОВ

Аминьевское шоссе находится на западе Москвы. Оно включено в пределы города в 1960 году. Название шоссе происходит от бывшей деревни *Аминьево*, ранее *Аминево*. Часто указывают, что это название впервые упоминается в духовной Ивана Грозного (1572 г.). На самом же деле *сельцо Аминево при речке Сетунке* названо уже в документе середины XV века.

Откуда же взялось это название? По своей структуре оно явно отыменное, т.е. произошло от имени владельца – какого-то *Аминя*. Историк XIX века И.Е. Забелин предполагал, что первым владельцем села был Иван Аминь Каменский из известного боярского рода Каменских-Курицыных, живший якобы в конце XIV или начале XV веков. С легкой руки историка, в энциклопедии “Москва” (1980 г.) Иван Аминь даже назван сподвижником Дмитрия Донского. Однако, согласно разысканиям С.Б. Веселовского (Ономастикон. М., 1974), Иван Аминь Юрьевич Каменский жил в XVI веке и поэтому никак не мог оказаться ни первым владельцем села, существовавшего уже как минимум веком ранее, ни, тем более, сподвижником Дмитрия Ивановича Донского.

Но русской истории известен и другой Аминь. Под 1348 (или 1349) годом летописи упоминают *Аминя*, которого московский князь Симеон Гордый направил с посольством в Орду. Его-то многие исследователи и считают первым владельцем села *Аминево*. Кем же был этот Аминь и откуда он получил свое имя?

А.М. Селищев (Избранные труды. М., 1968) относил имя *Аминь* к церковным. С.К. Романюк (По землям московских сел и слобод. В 2 т.

М., 1998–1999) называет *Аминя* мечником князя Симеона Гордого и считает, что он был бесшабашным человеком, судя по его прозвищу. Развернутую характеристику *Аминя* и мотивацию происхождения его имени дает В.Б. Муравьев (Улочки-шкатулочки, московские дворы. М., 1998). Трудно удержаться от развернутой цитаты: «Свое название Аминьево получило по прозвищу владельца – боярина, служившего московскому князю Симеону Гордому (...) Об этом боярине известно немного: всего одна запись в летописи (...) “погадав со своею братиею и с бояры и посла в Орду Федора Глебовича, да Аминя, да Федова Шубачева ко царю (хану) жаловатися на Ольгерда” (...) Не вызывает никакого сомнения, что Аминь не имя, а прозвище. Объяснение же, почему в летописи он назван не настоящим своим именем, а прозвищем, может быть одно: значит, оно было так удачно, что выразило самую сущность человека (...) Скорее всего свое прозвище Аминь боярин получил из-за того, что часто употреблял в речи это слово, оно было его поговоркой. Такой способ образования прозвища достаточно обычен [интересно было бы ознакомиться с примерами такого обычая; булгаковского персонажа из “Кабалы святош” по прозвищу *По-молись!* мы в расчет не берем. – А.Ш.]. Ну а облик человека, поговоркой которого было слово *аминь*, тоже достаточно ясен: был он, видимо, решителен и доводил каждое начатое дело до конца. Тот эпизод, о котором рассказывает летопись, подтверждает это».

Итак, перед нами вырисовывается образ бесшабашного боярина (или мечника), часто употреблявшего слово *аминь!*, да настолько часто, что окружающие (а за ними – и летописец) позабыли его истинное имя. А откуда, собственно, эти живописные подробности? Нам говорят: из летописи. Вот давайте к ней и обратимся. Прознав о поисках литовского князя Ольгерда при дворе хана Золотой Орды, князь Симеон Гордый отправляет к хану посольство, целью которого было уверить хана в неизменности политики подчинения Москвы Орде и доказать невыгоду союза Орды с Литвой. Миссия послов была успешна. О составе же посольства летописи говорят буквально следующее (ранее цитировался текст Троицкой летописи, приведенный у Н.М. Карамзина, мы следуем Софийской 1-й летописи): “посылал в Орду князя Феодора Глебовича а с ним киличеев [послов. – А.Ш.] своих Феодора Шибачева и Аминя”. И это все! Больше про Аминя в летописях не говорится. Из приведенного же текста вывод можно сделать такой. Посольство возглавлял князь (или боярин) Федор Глебович; в нем были также Федор Шибачев (Шубачев) и Аминь. Причем боярином этот Аминь заведомо не был, ибо поименован без отчества. И приведено в летописи не прозвище его, а имя! Только имя это не русское (лишь внешне походя на заимствованное из греческого *аминь* “конец”), а татарское. В тюркских языках *âtin* имеет два значения: “верный, надежный” и “начальник, надзиратель” (в последнем значении

заимствованное слово *аминь* встречается и в русских источниках XV–XVI вв.). Соответствующее имя было широко распространено у татар, назовем хотя бы казанского хана Мехмет-Аминя (конец XV в.). Совершенно естественно, что в составе посольства, направляемого в Орду, был и переводчик – “ордынский выходец”, татарин по происхождению и *Аминь* по имени (кстати, возможно татарин по происхождению был и Федор Шубачеев, ибо тюркское *subaşı* означает “воинский начальник”). Заметим, что на вероятное татарское происхождение летописного Аминя указывал уже С.Б. Веселовский, только это указание последующими интерпретаторами было оставлено без внимания.

Мы, конечно, не знаем, был ли именно этот татарин Аминь первым владельцем села Аминьево (так, в договоре 1434 г. Василия Темного с Шемякой назван некий *Семен, Аминев пасынок*). Но мы уверены в том, что этим владельцем был человек по имени *Аминь* или по родовому прозвищу *Аминев*, и это именование имеет татарские (шире – тюркские) истоки.

Остается одно – понять, почему Аминя “произвели” в чин боярина. Нельзя поручиться наверняка, но похоже, что этому способствовал именной указатель к четвертому тому “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина, где Аминь указан с неоправданной пометой “боярин Симеона Гордого”. Сам же Карамзин Аминя в основном тексте вообще не упоминает, а уже цитированный летописный отрывок приводит в комментариях.

Бескудниковский район Москвы и станция Савёловского направления Московской ж.д. *Бескудниково* названы по бывшему селу *Бескудниково*. В его окрестностях в XIX веке появились кирпичные заводы, а в 1929 году село было преобразовано в поселок городского типа и в 1960 году вошло в черту Москвы.

Впервые это название встречается в писцовой книге 1584 года: “за Овдотей Индриковой да за ее сыном недорослем за Некрасом старое муж а ее поместье деревня Безкудникова на речке на Лихоборке”. В документе же 1623 года деревня называется уже *Бескудниково*.

Название объясняли по-разному, опираясь на различные засвидетельствованные его формы. Почти все исследователи исходили из первичности именования владельца деревни, но понимали смысл этого именования подчас прямо противоположно.

Так, полагали, что прозвище *Безкутник* обозначало неимущего, безденежного человека (ср. др.-русс. *куна* “денежная единица”, *куный* “обильный, дорогой”. Веселовский С.Б. Указ. соч.); по другой версии, *Бескудник*, напротив, человек живущий *без скудости*, в достатке (Имена московских улиц. М., 1979). Предполагалось также, что в *Безкудникове* жили люди, освобожденные от каких-то платежей

(Романюк С.К. Указ. соч.). Один из видов податей в древности назывался *черная куна*; *куныщик* означало “сборщик податей”.

Однако ни одно из предлагаемых значений слова *безкуник* или *бескудник* словарями древнерусского языка не фиксируется. В словаре М. Фасмера находим – *кунное* “приданое невесты”, у В.И. Даля – “плата, выкуп за невесту”, а *безъкуньо* в XV веке означало “бесплатно”, как отметил Словарь И.И. Срезневского (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. II; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. II; Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912).

Наиболее естественным поэтому представляется следующее: древнерусское *безкуник*, откуда и прозвище *Безкуник*, означало “человек, взявший жену без приданого”. От этого личного именования и пошло название деревни Безкуниково, позднее превратившееся в *Бескудниково*.

Чертаново – станция Московской ж.д., *Северное, Центральное и Южное Чертаново* – районы Москвы, *Чертановская улица*, станция метро “*Чертановская*”. Все эти названия происходят от имени деревни *Чертаново*, вошедшей в черту Москвы в конце 1950-х годов.

Название *Чертановское* встречается уже в духовной Великого князя Василия Тёмного (середина XV в.). В материалах Генерального межевания конца XVIII века деревня числится как *Чертаново*. Она стояла на берегу реки *Чертановки* (исток реки находится у станции метро “Теплый Стан”; впадала она в Городню, в настоящее же время ее воды отведены в Москву-реку).

Можно предполагать, что речка получила свое название по деревне, а деревня – по имени или фамилии владельца (так, в 1563 г. в Ярославле был известен Федор Иванович Чертанов). Правда, при этом неясным остается происхождение имени *Чертан* или фамилии *Чертанов*. На русской почве они не находят объяснения. Впрочем, Е.М. Пospelов (Топонимический словарь Московской области. М., 2000) указывает на следующую возможность развития обсуждаемых имен и названий. Он установил, что деревня Чертаново Волоколамского района Московской области (известна под этим названием с XIX в.) в источниках XVI века называлась *Чёртово*. Этот пример показывает, что название деревни, изначально произошедшее от русского неканонического имени *Чёрт* (известно по документам с конца XV в.), могло позднее измениться в *Чертаново*. Выходец же из этой деревни мог получить прозвание *Чертанов*.

Но в нашем конкретном случае подобное объяснение вряд ли возможно. Дело в том, что название реки Чертановки в источниках встречается в вариантах *Чертанавка* и *Чертоня* (ср. с вариантами названия речки в басс. Клязьмы: *Чертанка* и *Черторма*). Такое колеба-

ние формы названия обычно служит свидетельством о его изначально нерусском происхождении (Смолицкая Г.П. Названия московских улиц. М., 1996). В этом случае можно было бы считать название деревни *Чертаново* не первичным, а, напротив, – производным от названия реки и искать для названий рек *Чертона*, *Чертома* иноязычные соответствия.

Интересными в этом отношении нам представляются марийские слова *чортан* (из татарского *чуртан*) “щука” и *шертни* “ива, верба, ракета”. Родственные указанным слова могли иметься и в языке летописного племени Меря, заселявшего когда-то и часть земли Подмосковья (мерянский язык был близок к языку волжских финнов – мордвы и марийцев). Значение “Щучья” или “Ивовая” вполне уместно в названии реки (соседняя с Чертановкой река Битца называлась также *Ивовые Кусты*).

Могло, конечно, случиться и так, что имя нерусского происхождения, скажем, *Чортан* или *Чуртан* “Щука”, носил первопоселенец или владелец Чертанова, а речка уже получила название по поселению (с позднейшей подстройкой непонятного названия под русское *чёрт* или *черта*). Но этого мы скорее всего никогда не узнаем. Тем не менее, мы видим, что в языках народов, когда-то проживавших в Подмосковье, находятся слова, которые вполне могли лечь в основу названия деревни *Чертаново* или реки *Чертановка* – *Чертона*.

Ясенево – район Москвы, “Ясенево” – станция метро, *Новоясеневский проспект*. Эти названия наследуют имя бывшего села *Ясенево*, вошедшего в черту Москвы в 1960 году. Как село *Ясиновское* оно впервые названо в завещании Ивана Калиты 1336 года, в грамотах XV века – *Ясеневское*, в документе 1505 года – уже *Ясенево* (но в документе 1750 г. – *Ясинево*). Н.М. Карамзин предполагал, что именно это село упоминается в Ипатьевской летописи под 1206 годом при описании распри удельных князей: “сретоша и братья у Ясеня”. Но контекст летописного сообщения показывает, что встреча князей произошла не под Москвой, а под Суздалем (кстати, в Лаврентьевской летописи место встречи названо “у Сеянья”).

Название *Ясенево* некоторые авторы склонны трактовать в связи с породой дерева *ясень*: “Названия населенных пунктов, связанные по своему образованию с наименованиями деревьев и видами растительности, в русской топонимии – не редкость, существуют они и в современном Подмосковье – *Орехово-Зуево*, *Дубровицы*, *Березки*, *Купавна*, *Дубки*, *Подлипки*, *Кленово*, *Старая Ситня* и другие. К числу топонимов, характеризующих флору Московского края, относится и топоним *Ясенево*. *Ясень* – высокое светолюбивое дерево с раскидистой кроной и мелкими узкими листочками” (Горбаневский М.В. Московведение. М., 1997).

Но многие, внешне простые, названия обманчивы. Там, где “видится” название животного или растения (В.А. Никонов называл подобное видение “наивным натурализмом”), чаще скрывается личное именование, произошедшее от соответствующих слов. На это указывает, в первую очередь, притяжательный суффикс *-ов-*. Так, названия из приведенного перечня *Кленово* и *Орехово* (деревня, вошедшая в 1917 г. в состав г. Орехово-Зуево) Е.М. Поспелов определенно возводит к неканоническим русским именам (или производным от них фамилиям) Клен и Орех. В 1623 году село *Купавна* в документах упоминалось как *Хупавна на речке Хупавне*, а в 1687 году – *Купавна на речке Купавне*. Поэтому название это, видимо, вовсе не связано ни прямо, ни опосредованно (через личное имя) с водным растением *купова*, *купавка* “кубышка, *Nimphaea*”. Его логичнее связывать с древнерусским *хупавый* или русским диалектным *купавый* “красивый, пригожий; чистый” (Поспелов. Указ. соч.).

Вернемся к нашему названию. От слова *ясень* могло произойти такое название, как Ясенец (новгородский погост, известный с XIII в.), но вряд ли *Ясенево*. Оно скорее восходит к имени первопоселенца или владельца. Е.М. Поспелов предполагает, что им был некто по имени *Ясень* – из *ясень* “вид дерева” (Названия подмосковных городов, сел и рек. М., 1999). Это имя не упоминается в сводах древнерусских личных имен, но наличие в них имен *Береза*, *Ива*, *Осина* и т.п. позволяет предполагать и его существование.

Но возможно и иное решение относительно имени первого владельца села. Так, С.К. Романюк пишет о Ясенево: «Возможно, что это название произошло от имени или прозвища одного из первых владельцев – соседа боярина Кучки, владельца Москвы, – княжеского ключника Ясеня, который “жил в своем *Ясенье* да заодно с литвинами...” [здесь цитируется во многом фантастическая “Повесть о начале Москвы” XVII в.; *Ясенево* никогда не называлось *Ясеньем*. – А.Ш.]. Среди тех, кто задумал и осуществил убийство князя Андрея Боголюбского во дворце под Владимиром, вместе с Кучковичами был и “Петр Кучков зять, Ясень ключник”» (Там же).

Читатель может спросить, чем же эта версия отличается от предыдущей? А вот чем. Летописный текст здесь передан неточно. А текст этот гласит (Лаврентьевская летопись под 1175 г.): “Началник же оубицам Петр Кучков зять. Аньбал Ясин ключник. Якым Кучковичь”. Итак, не *Ясень*, а *Ясин*. Кстати, далее он назван просто *Анбол ключник* (без добавления *Ясин*). То же мы читаем и в других летописях при описании убийства Андрея Боголюбского. А Ипатьевская летопись проясняет происхождение именованного *Ясин*: “и прииде Аньбал ключник Ясин родом”. Значит, этот *Аньбал ключник* был по национальности *ясин* – так (*ясы*, единств. число мужск. рода *ясин*) в Древней Руси называли потомков ираноязычных алан, предков современных осе-

тин. В XI–XII веках ясы проживали не только на Кавказе, но и в южнорусских (половецких) степях: “Ярополк ходи на Половчскую землю к рече зовомей Дон и города взяша Половечские... и приведе с собою Ясы и жену полони себе Ясыню [при крещении полонянка, ставшая княгиней, получила имя Елена]” (Летопись под 1116 г.).

Таким образом, можно полагать, что первым владельцем села *Ясиновское* (напомним, что именно такого самая ранняя форма названия) был какой-то *Ясин*, именем которого стало название его (или его предков) национальности (ср. *Чудин, Литвин, Немчин, Фрязин*). Был ли он потомком летописного Аньбала Ясина, нам, к сожалению, знать не дано.

Причина же изменения формы названия со временем видится в следующем. В 1222–1239 годах ясы были вытеснены татарами из половецких степей на Северный Кавказ и на какое-то время “исчезли” из поля зрения русской истории (кавказских ясов летописи упоминают в последний раз в конце XIV в.), возвратившись на ее страницы в XVI веке уже под иным именем: *осинцев* или *сонских людей*. Значение слова *ясин* перестало быть понятным. Потому и название *Ясиновское* под влиянием слова *ясень* легко превратилось в *Ясеновское*, а затем – и в современное *Ясенево*.



“У вас товар, у нас купец”

Обрядовая фразеология донской казачьей свадьбы

Е. В. БРЫСИНА,

кандидат филологических наук

Свадебный обряд является наиболее сложным и архаичным памятником народной культуры. В донской свадьбе удивительным образом сочетаются архаические элементы древней казачьей свадьбы и традиции свадебного обряда восточных славян. Весьма разнообразны территориальные различия свадебного обряда, его лексика и фразеология даже в пределах Дона. Во многом это связано с неоднородностью населения донского края: здесь много старообрядческих поселений, переселенцев с других исконно русских территорий. На этапах проведения обрядов в целом и свадебного обряда в частности, последовательности ритуальных действий, используемых в процессе обрядов атрибутов – и, в конечном итоге, на обрядовой лексике и фразеологии несомненно сказался позднереселенческий фактор. “В донском обряде обнаруживаются всевозможные заимствования из традиций соседей-украинцев, степняков-кочевников. Донская свадьба вобрала в себя особенности и севернорусского, и южнобелорусско-украинского обрядов (Проценко Б.Н. Этнографические реалии и программа “Традиционная культура” // Лексический атлас русских народных говоров. СПб., 1994). Этим обусловлены, с одной стороны, некоторые различия в проведении свадебного обряда в отдельных районах (станицах и хуторах), и, с другой, наличие многочисленных вариантов названий одних и тех же (или сходных) элементов обряда на разных казачьих территориях.

Фразеологию свадебного обряда в донских говорах условно можно разделить на несколько групп: 1) наименования этапов свадебного обряда – *выговаривать кладку* “договариваться о подарках к свадьбе для жениха и невесты”; *проводить оглядины* “осмотр хозяйства жениха” и др. (Словарь русских донских говоров. В 3 т. Ростов-на-Дону, 1975–76 Т. II. Далее – СРДГ); 2) наименования ритуально-обрядовых действий – *навязать котелок* “отказать сватам”; *невестины сиделки* “собрание подружек невесты накануне свадьбы” и др. (СРДГ. Т. II, III); 3) наименования лиц – участников свадебного обряда – *храбрый поезд* (поезджане) “вереница повозок с участниками свадебного обряда”; *подкладная невеста* “заранее сосватанная невеста” (СРДГ. Т. III) и др.; 4) наименования обрядовых предметов – *головная подушка* “большая подушка в составе приданого невесты”; *зеленая телка* “теленочек, еще не рожденный, которого обычно дарят на свадьбе моло-

дым” (СРДГ. Т. III) и др.; 5) наименования самого явления бракосочетания – *записываться на жизнь* (Словарь русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 1991. Т. I. Далее СРДГН); *уходить уходом* “выходить замуж без согласия родителей (СРДГ. Т. II) и др.; 6) наименования предметов и явлений, в той или иной степени отражающих разные стороны свадебного события – *водворный муж* “муж, поселившийся в доме своей жены”; *сведенные дети* “сводные дети” (СРДГ. Т. II, III) и др. Эти группы различаются и по своему количественному составу: наиболее заполненными оказываются первые две: наименования этапов свадебного обряда и ритуально-обрядовых действий. Распределив свадебно-обрядовую фразеологию донского диалекта в соответствии со свадебной хронологией, представим само это уникальное явление. Почти повсеместно на Дону свадебный обряд сводится к трем основным этапам: *предсвадебье, день свадьбы и послесвадебье*.

Первый этап традиционной казачьей свадьбы начинался обычно с выбора невесты. Это был предсвадебный этап, последовательно включавший в себя выбор сватов, сватовство, смотрины невесты, осмотр дома жениха, сговор, девичник, мальчишник – последние вольные вечера жениха и невесты.

Для обозначения девушки на выданье в диалекте существуют разные составные номинации: *Христова невеста* – женщина, решившая дать обет безбрачия (СРДГН. Т. I); о девушке, которую родители *держат на просол* – долго не отдадут замуж (СРДГ. Т. III), или о тех, которые “засиделись в девках”, говорят *Миколаевская девка, барышня Петра Великого* (СРДГ. Т. I). За дурной нрав, внешнюю неприглядность их никто не берет замуж, они коротают время в одиночестве – *глотают (схватывают) паутину* (СРДГ. Т. II), *кулюкают в девках* (СРДГН. Т. I).

Если же молодая казачка хороша собой, да еще является *справленной девкой (невестой)*, то есть невестой с приданым (СРДГН. Т. I), надо было ждать сватов. Сватов либо выбирали специально, либо в этом качестве выступали крестные родители жениха или его родной отец – в разных местах по-разному. Обряд сватовства в некоторых местах назывался *охотиться за куницею (на куницу)* (СРДГН. Т. I). В доме невесты сваты вели себя так, как предписывал обряд: перед тем, как зайти, крестились, без приглашения не подходили к столу, говорили, используя иносказательные формулы, например, *Мы люди добрые, не злые, не разбойники какие, а заезжие охотники – охотились за диким зверем, за куницею и лисицею; ... спугнули куницу и по следу следили, и след привел нас к вам, теперь мы видим, что куница эта – ваша дочь красная девица* (Свадебные обряды. Неоконченная рукопись Х.И. Хлопова. Госуд. архив Ростовской области); *Прослышали мы, что у вас овечка есть, а у нас баранчик в стойле застоялся. Нельзя ли их в кучу собрать?*; *У нас казак заболел, а мы слышали, что у вас*

цветок лазоревый есть, лекарственный. Мы хотели его взять; Ехали мимо, да завернули по дыму. Пришли гости не гостить, а пир подымать. У вас товар, у нас купец. На товар нележалый – купец неженатый. Можно ли их в одно место свести да род завести? (Гольденберг А.Х., Кудряшова Р.И., Чернышова М.А., Свадьба казаков-старообрядцев Волгоградской области).

Иногда сваты в дом невесты несли калач – обрядовый пирог, который ставили на стол. Если родители невесты отвечали согласием на брак, калач съедали за праздничным столом. Если сваты получали отказ, калач забирали с собой и уходили. Отсюда пошло выражение *уносить калач* – получать отказ при сватовстве. Отказ при сватовстве мог обозначаться также выражениями *поднести гарбуз, навязать котелок, подвесить чайник* (СРДГ. Т. II, III). Интересно заметить, что в данном случае само ритуальное действие могло не совершаться, оказывалось достаточным его просто назвать.

Если жених “приходился по вкусу”, происходило символическое давание руки (*рукобיתье сделать*) (СРДГ. Т. III). Родители невесты со словами *В добрый час* подавали руку сватам, обернув ее какой-либо материей. “Подать или взять руку, не завернув ее в полу платья или платок, почиталось в старину дурным предзнаменованием. В старину донцы думали, что голая рука есть символ бедности” (Гольденберг и др. Указ. соч.). На *рукобיתье*, когда обе стороны договорились – *положили заряд* (СРДГН. Т. I), будущим жениху и невесте *делают своды*, (СРДГ. Т. III), *ставят на пару* – вместе, рядом ставят на сговорах (Миртов А.В. Донской словарь. Ростов-на-Дону. 1929. Далее – ДСМ), здесь жених и невеста дают свое согласие на брак. После этого накрывают для сватов стол и *делают запой, закупают невесту* (СРДГ. Т. II). Обычно выпивают *за доброе слово* (СРДГН. Т. I) – так называется обрядовое застолье по случаю согласия на брак.

Пока в доме невесты играют помолки (*помолок*) – отмечают помолвку, одновременно совершаются и другие обрядовые действия: *покрывают молодую* “кладут на плечо невесты подарки” (СРДГ. Т. III), *кладут мету* “на рукобיתье на плечо жениха родители невесты кладут башлык или другой подарок. Родители жениха также кладут мету на невесту” (СРДГН. Т. I). Во время сватовства также *выговаривают клад (кладку)* – “договариваются о подарках к свадьбе для жениха и невесты” (СРДГ. Т. II).

Сговор состоялся. После этого невеста считается просватанной, говорят, что ее “пропили”, что она теперь *девка запитая*. По обычаю, сват (отец жениха) приглашает родных невесты глядеть стенки – осматривать хозяйство жениха, его дом или, по-другому, *проводить оглядины (разглядины)* (СРДГ. Т. III), *печи смотреть* (ДСМ), *проводить гляденье места* (СРДГ. Т. I).

Следующие обрядовые действия смещаются ближе к самой свадьбе. В разных местах последовательность и сам характер таких действий несколько различаются, однако сохраняется их суть: жених и невеста проводят последние “вольные денечки”, готовят себя к будущей супружеской жизни.

Во многих местах жених и невеста устраивают *вечорки*, которые длятся несколько дней или даже неделю. «По типу южнорусского обряда *вечорки* были веселыми: молодежь “плясала до упаду”, а жених и невеста сидели в святом углу и *семечки кусали* (грызли семечки). Иногда для них исполнялись *хожавые песни* игрового характера, где молодые должны показать то, что поется, а их родители смотрели, не хромые ли они, не косые» (Гольденберг и др. Указ. соч.). В конце недели перед свадьбой жених и невеста отдельно друг от друга собирали своих подруг и друзей на последний “вольный” вечер. В одних местах такие вечера называются просто *девичник* и *мальчишник*, в других им соответствуют *молодецкий вечер* и *невестины сиделки* (СРДГ. Т. III), иногда невеста проводит *ночѣвки* (*собирать на ночѣвки*. СРДГ. Т. II) – невеста собирает своих подруг на вечеринку с ночлегом. В некоторых местах на *ночѣвки* собирались за неделю до свадьбы. «На девичнике пелись грустные лирические песни, для невесты топилась баня. На последний вечер у жениха собирались его друзья и родственники, топили баню, благославляли, “опевали” песнями» (Гольденберг и др. Указ. соч.).

Особой обрядовой значимостью был наполнен день накануне свадьбы – *подбрачный день* (ДСМ). В этот день в дом родителей невесты приглашались женщины обыгрывать невесту: “Начинаицца притсвадибная гулянья в доми нивесты, эта абыгрывають нивесту: пають свадибныи песни пра нивесту” (СРДГ. Т. II). Жених участвует в обряде, который называется на Дону *ходить за вѣчѣрою* – предсвадебное угощение женихом родителей и подруг невесты: “Как сонца сядить, жених и друшко ходють за вичѣраю, завуть к сабе радитилий нивестиных” (СРДГН. Т. I). Вечером того же дня в дом жениха *везут подушки* – приданое невесты. В данном случае слово *подушки* имеет символическое значение, так как, обозначая лишь незначительную часть всего приданого невесты, называет весь обряд передачи ее имущества в новый дом, где ей предстоит строить свою семейную жизнь. *Везти (нести) подушки* означает, что *скиба отрезана от хлеба*: “Ушол из дома, али замуж адали, эта уже отрезана скиба ат хлеба, ни приклеиш” (СРДГ. Т. III). Самая близкая подруга невесты *несла надьку* – маленькую подушечку, украшенную бумажными розами (СРДГ. Т. II). Нередко подушки из приданого невесты имели разное назначение и назывались каждая по-своему: *надька*, *головная (головочная) подушка* и др.

Когда в дом будущей свекрови *привезут подушки*, проводится свадебный обычай, называемый на Дону *качать жениха* (СРДГ. Т. I) –

друзья жениха берут его на руки, раскачивают и бросают на постель невесты, что символически означает право жениха спать на этой постели.

Второй этап свадебного обряда – день свадьбы. Он начинался с многочисленных обрядовых действий в доме жениха и невесты, а заканчивался обычно венчанием, свадебным застольем и обрядом провожания супругов в спальню.

Утро в доме жениха начиналось с благословения его родителями и подготовки *свадебного поезда*. Здесь собирались *поезжане* – приглашенные участники свадебного обряда, которые на красочно украшенных цветами, лентами подводах вместе с женихом, его родителями и *дружкой* (*дружком*) отправлялись *выкупать невесту*.

Утро в доме невесты начиналось с “буженья” причитаниями матери. Собравшиеся подруги помогали девушке празднично одеться, *убирали под венец* (СРДГ. Т. III), пели соответствующие обряду песни. До приезда жениха невесту благословляли родители, затем ее *сажали на посад* – в ожидании жениха она должна была сидеть под иконами в *святом* (*красном*) углу. Рядом с ней сажали кого-либо из родственников, со всех сторон невесту обступали подруги, родственники, дети, которые охраняли ее от *заборных гостей* (ДСМ) – сватов, приехавших забирать невесту. Невесту опедали обрядовыми песнями, обычно с грустными, печальными сюжетами. Все ожидали приезда *храброго* (*свадебного*) *поезда* – сватов с женихом и поезжанами.

Настоящим обрядовым спектаклем была встреча родственниками невесты *храброго поезда* жениха и обрядовое действие *выкупа невесты*. Поезжан старались не пропустить в дом к невесте, перед ними закрывали ворота, перетягивали их веревкой, дружке загадывали загадки, он долго препирался, откупался сладостями и вином и только после этого заводили своих поезжан в горницу невесты. Забрать невесту на венчание можно было, только предварительно выкупив ее. Шли долгие “торги” с родственниками и подружками. Дружка (*дружок*, *дружко*) должен был *выкупить место* для жениха рядом с невестой за столом у ее родных перед венчанием (СРДГ. Т. II), раздав всем подарки, а подружкам невесты – *девичью водку*: “Падрушки сидять с нивестай, ни пускають жыниха к нивести, друшко даёть девичью вотку, касушку вотки, за эта жыних получаить места окала нивесты” (СРДГ. Т. I). После этого *большой сват* – главный распорядитель на свадьбе *связывает ложки* (СРДГ. Т. I, III), перевязывает свадебной лентой две чекушки и две деревянные ложки. Жениха и невесту в разных подводах везут к венцу – *записываться на жизнь* (СРДГН. Т. I). На пути свадебному поезду *устраивают заломы* – переграждают дорогу, требуя выкупа.

Особо следует сказать о *свадебном колдуне*, подробный рассказ о котором записан нами в станице Клетской. Обычно это пожилой

мужчина – *Дед, Дедушка*, который знает, то есть ведает, обладает колдовской силой. Дружко и Дед – это две противопоставленные обрядовые силы, взаимоотношения между которыми во многом решают исход свадьбы. Чтобы счастьем молодых не было противостояния, дружко обязательно должен побывать у Деда, переговорить с ним, угостить, задобрить. В противном случае “залом” на дороге может оказаться непреодолимым, и молодые не доберутся до церкви. Возможны и другие напасти.

После венчания в церкви сваха проводит обряд, в разных местах называемый по-разному: *надевать колпак* (СРДГН. Т. I), *повивать молодую* (ДСМ), *покрывать молодую* (СРДГ. Т. III) – менять девичью прическу “на бабью”: “На свадьби нивести закручивают волосы на затылки и на пучок валос надивают калпак, значить, девушка становилась женьчиной” (СРДГН. Т. I). Молодые едут в дом жениха, где их встречают его родители с иконой и хлебом-солью, их *сдают с рук* – жениха и невесту передают из рук в руки, чтобы уберечь их от недоброго взгляда; *осыпают орехами* – осыпают зернами пшеницы, хмелем, конфетами в знак будущего материального благополучия и достатка в семейной жизни. После бракосочетания проводят *красный обед, брачный бал* (СРДГ. Т. I–III) – свадебное гулянье: “Батюшка пирвянчать – и пашла гулянья, брачный бал”. Раньше застолья как такового не было (или, по крайней мере, было не везде), сравните записанную нами в хуторе Манойлин Клетского района церемонию брачного бала: “За столами ни сидели. Гости сидят на лафках нат стенкай. Друшко идеть па ходу, раздал фсем выпить. Каждый падашол к сталу, взял себе закусить и выходить. Патом танцуют, песни играють, шутять. А маладэш-та и вофси к сталу ни патходить”.

В день свадьбы одно из главных событий – *кидать на каравай* (ДСМ), *подносить каравай, сыр-каравай, резать каравай* (СРДГ. Т. II, III) – дарить молодоженам подарки. «В день свадьбы в доме жениха печется “каравай”: из теста делается пышка, нарезается на квадратiki, величиною поменьше вершка. При сажании пышек в печь молодые женщины поют песни для этого случая. Испеченный каравай разламывается квадратиками (...) дружко приводит молодых к столу, на котором стоит чаша с караваем. Получающие каравай считают себя обязанными что-либо преподнести в пользу молодой четы (...) Дружко кладет на поднос четыре квадратики каравая и, поднося их к сватам, говорит: “Сыр-каравай принимай, молодых одаряй: не рублем, полтиною, золотою гривною, а коли честь ваша есть, подарите молодым телочку или бычка, овечку, что есть лишнее, молодые примут”» (Свадебные обряды).

С обычаем *кидать на каравай* связаны на Дону и такие понятия, как *дарить зеленое* (петуха, поросенка и т.п.) “обещать на свадьбе какой-либо подарок”: “Я жанилси, мне дарили усё зилёная, годы были

такия. Жынкин брат падарил зилёнава парасёнка, а сасет падарил двух утак, так они и спеють до сих пор” (СРДГН. Т. I), *зеленая телка (баран)* “теленко (баран и т.д.), рождение которого ожидается в скором времени”: “Зилёная тёлка – тилёнак, каторавя нет ишо, а скоро будить. Иво абична дарять на свадьбы” (СРДГ. Т. II), *каравайный баран* “баран, подаренный жениху и невесте на свадьбе” (СРДГ. Т. II).

В разных местах обряд дарения подарков имеет свои характерные особенности, хотя называется почти везде одинаково (или схоже). Так, в одном случае каравай просто режут на небольшие кусочки и угощают тех, кто одаривает молодых, в другом – в целый (нерезаный) каравай втыкают украшенную лентами, печеньем, конфетами пушистую ветку и гостям предлагается не сам каравай, а сладости с ветки. Интересно отметить, что в некоторых станицах и хуторах элемент обряда *сыр-каравая* (*кидать на каравай*), связанный с украшением (обычно вишневой или терновой) ветки, выделился в самостоятельное действие, получившее название *ломать ветку* “игра во время свадьбы”: “Пьють и гуляють, а тада ламають ветку. Бируть вишневую ветку, украшають, как ёлку, конфетами и лентами. Маладэш старайца здернуть с ветки украшения, а хто ахраняить ветку, бьёт кнутом, ни дапускаить” (СРДГН. Т. I).

Заканчивается первый день свадьбы обрядом провожания молодых в спальню, когда проводится обряд *посладить дорожку* (СРДГ. Т. III) – гости выпивают рюмку за счастливый путь новобрачных, приговаривают шуточные пожелания, например: *Сколько в лесу пеньков – столько вам сынков. Сколько в лесу кочек – столько вам дочек* (Гольденберг и др. Указ. соч.).

Третий этап традиционной казачьей свадьбы – послесвадебье с ритуалом бужения молодых в *весёлое утро* – утро после первой брачной ночи (СРДГ. Т. I). Друзья и родственники молодоженов с песнями и приговорками идут *подымать молодых, подымать князя со княгиней* (ДСМ). После завтрака молодые с ближайшими родственниками отправлялись к родителям невесты. Обряд этот называется в донских краях по-разному: *к теще на блины, нести калину, нести свадебное знамя*. Но все обрядовые фразеологизмы передают одну суть: жених должен был публично перед родителями невесты подтвердить ее девичью невинность: “Нисуть калину послы свадьбы радителям нивесты за иё деуствиннасть”; “Фтарой день свадьбы насили калину, показвали прастыню”. Этот же обычай мог выражаться и в иной форме: теща подавала зятю тарелку блинов, и все внимательно смотрели: если молодой муж с краю откусит – невеста сохранила свою невинность до замужества; если откусит середину – позор родителям невесты. Раньше на Дону на опозоренных родителей *надевали хомут*: “Хамут надивали на тэшшу; если невеста ничесная” (СРДГН. Т. I).

После такого обряда празднество продолжалось. Во второй день проводилось особенно много игровых, театрализованных действий,

например, *невеста с чудой* – “обряд; о невесте, устраивающей шуточные сюрпризы родственникам жениха”: “Нивеста с чудай, када ана шутить нат стараной жыниха: даёть салёной узвар вместе чая” (СРДГН. Т. 1); *пели заюшку* (СРДГ. Т. II) – водили хоровод и пели при этом обрядовые песни. В этот же день проводились многочисленные гулянья с переодеванием, которые называются *водить лисичку* «символическая свадебная борьба за невесту – “лисичку”», *водить обезьяну*: “Посли винчания фсё срацтво адиваюца, как у клоуна, и водють абизьяну, висияцця”; *водить белую кобылу*: “Белую кабылу водють: лантухом накроють двух людей, и ходють ани па свадьби. Кабыли мёт дають, вотку”; *водить медведя* “ходить шумной толпой (особенно о гуляющих на свадьбе)” (СРДГН. Т. 1). На второй же день *бьют горшки*: “Свякры на фтарой день выходить з гаршком, гаршок аб землю хрясь. Фсе мелачь кидают. Жаних с нивестай абои ф фартуках, фсяк себе набираить. А свякры смотреть, астались капейки аль нет. Маладой венник дають, ана чиряпушки падмятаить. Фсе глядять, лэфкая нивеста аль ня очинь”.

На третий день свадьбы все гости собираются в доме жениха *додать кабаргу* – “...чё асталась ф чугунках пасля краснава абеда”, то есть на заключительное застолье, и продолжается веселье. Завершение свадьбы символизирует обряд, который в большинстве донских районов называется *заливать, завивать (тушить) оvin*: «Маладую привязуть, два-три дня адгуляють, заканчивають. Падажгут авин и прядают ширис няво и крищать: “Пажар! Пажар!” А патом заливають авин» (СРДГ. Т. II), *заливать пожар* “свадебный обряд, при котором тушат водой зажженные платки, облитые водкой”: “Ражжыгають кастер и прядают – ета заливають пажар” (СРДГН. Т. 1). В других местах во время данного обряда в огонь бросают монеты, молодые тушат костер и собирают деньги.

В четвертый день после венчания, когда свадьба уже завершена, *хоронят концы* (СРДГ. Т. III), *ховают концы* (ДСМ) – проводят заключительный пир у родителей невесты, на котором собираются только ближайшие родственники. Молодежь *забивает гвоздь* – собирает деньги на послесвадебную вечеринку с угощением вскладчину (СРДГН. Т. 1); молодые *ходят по своим* – посещают родственников. Свадьба завершена окончательно, но благодаря многочисленным ярким, зрелищным обрядам и обычаям навсегда остается в памяти казаков.



В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ...

Ч. БААСАНЖАРГАЛ

Общечеловеческий смысл вынесенного в заглавие изречения облекается в разных языках в разную форму. Отражая национальную культуру монголов, аналогом выражения “В чужой монастырь со своим уставом не ходят” служит пословица в форме двустихия:

Будь слепым там, где все слепые,
Будь хромым там, где все хромые.

Даже при хорошем знании грамматики и лексики неродного языка иностранец часто приходит в недоумение, сталкиваясь с подобными расхождениями. В схожих ситуациях у русских и монголов приняты, например, весьма различные формы вежливости. Угощая чаем, русские обычно спрашивают у гостя: “Не выпьете ли вы (не налить ли вам) стакан чайку?”. Такой вопрос монголам кажется обидным, на него могут даже ответить резко: “Вместо того, чтобы предлагать, разливай”. По традиции хозяйка угощает чаем, как только гость войдет в дом и сядет. Гость не должен отказываться и принимает чай независимо от того, хочет он пить или нет. Конечно, при этом можно сделать два–три глотка и отставить чашку.

В России совсем еще недавно пили чай “вприкуску” или “внакладку”. Сейчас же обычны вопросы вроде: “Сахар кладете?”, “Может быть, с вареньем?”, “Лимон положить?”. Очень редко русские пьют

чай с молоком, в то время как монголы любят сдабривать чай сливочным маслом и солью, а живущие на западе страны пьют чай обязательно с молоком, жиром животных и солью. Жители восточных аймаков пьют чай с молоком и пшеном, но без соли. Они употребляют 70 процентов пшена, поступающего в продажу в Монголии. Кстати доказано, что отсутствие осложнений при родах у женщин в восточных аймаках связано с обильным примешиванием пшена к чаю.

Впрочем, чай с пшеном, иногда с рисом любят по всей Монголии, приговаривая: “Пить бы чай с пшеном в такой холодный день!”, “Давайте выпьем чай с пшеном. Сегодня же выходной день” или “Мамочка, я ску-чаю по вашему чаю с пшеном”, “Чай не получился как у мамы”.

Многие монголы пьют чай с пельменями, о чем свидетельствует известная поговорка: “Выпил бы ты чай с семью пельменями – усталости бы как не бывало”.

Культурно-языковые различия очевидны в принятых выражениях признательности. Монголы склонны выражать признательность косвенно или даже невербальными средствами, что нередко смущает иностранцев, которым кажется, что их недостаточно ценят. Это ясно изображено в рассказе монгольского писателя Ш. Ванчаарай “Нутгийн минь хун нуурандаа бий”. Когда друг отца главного героя входит в юрту и задерживается у входа, герой рассказа, опережая маму, приглашает его: “садитесь, пожалуйста” и придвигает маленькую табуретку. Вошедший мужчина проходит вперед, по привычке отставляет табуретку, сам садится на коврик, сгибая левое колено, достает из-за пазухи табак в старом, изношенном юфтевом кисете, из голенища сапога – трубку с коротким чубуком и длинным мундштуком, набивает ее и затягивается табаком – сначала сам, а потом, передавая трубку, угощает героя рассказа. Увидев такую сцену, иностранец может подумать, что старик невежлив; ведь он не поблагодарил за приглашение. Но для монголов поведение старика типично, поскольку оно и без слов выражает благодарность. В Монголии пожилые люди редко угощают молодых своим табаком в трубке с мундштуком из драгоценного камня.

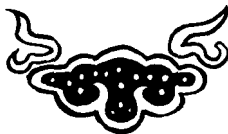
Мне, как типичной монголке, хочется, чтобы иностранцы наблюдали за позой и мимикой монголов, а не ждали от них слов: “Спасибо”, “Благодарю”, “Вы очень любезны” в ответ на приглашения типа: “Заходите”, “Входите”, “Проходите”, “Садитесь”. Именно мимика и поза в такой ситуации выражают благодарность. Если люди и прибегают к словесной похвале, ее чаще обращают не к лицу, а его поступкам. Например: “Я весь в поту. Какой питательный суп!” вместо “Спасибо за вкусный суп”; “Ой, как будто глаза открылись или как будто снова возродилась” вместо “Спасибо за массаж”. И реакция на такие формы выражения благодарности опять может быть не такая, как у русских:

“Отлично! Говорят, что потение – знак крепкого здоровья”, “Люди говорят, мои руки считаются непростыми”.

Иностранцев приводит в недоумение манера монголов выражать признательность за комплимент. В ответ на замечание “Вам очень идет это платье” монголка почти никогда не скажет “Спасибо”, а что-нибудь вроде “Это вам только кажется”, “Не смейтесь надо мной”, “Вы преувеличиваете”, “Хотелось бы поверить вашему слову”, “Но мне непривычно в нем”, “Это не мой цвет”, “Что вы – платишко мое изношенное”, “Может быть, и ничего, но моя прическа не подходит”. Причина такой реакции в том, что монголы всегда боятся “белого заклинания”. Они уверены, что если кого-то хвалят, то этот человек или заболит, или с ним случится беда.

Русские говорят, что их раздражает излишне частое употребление американцами слов “Thank you”. Так же и монголам кажется, что русские злоупотребляют словом “спасибо”.

Приведенные примеры показывают, как важно при изучении иностранного языка учитывать культурные различия. Мы, монгольские преподаватели русского языка, уделяем им самое серьезное внимание: ведь без уважения к другим нравам и обычаям невозможно достичь главной цели преподавания – обеспечить полноценное межкультурное общение.





ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ

С. Л. ИВАНОВ

В современном русском языке есть слово *фешенебельный*, но нет существительного, от которого оно формально могло образоваться. Изучение же художественных произведений XIX века свидетельствует о том, что в это время в широком употреблении было слово *фешенебль*, относившееся по своей семантике к группе слов, называющих щеголя, светского модника. Изучение отношений, в которые вступало это слово, помогает сейчас более точно восстановить его значение.

Появление слова *фешенебль*, вошедшего в 20–30-е годы XIX века в русский литературный обиход вместе со словом *денди* (подробнее о *денди*: Русская речь. 2003. № 2), а затем и *джентльмен* явилось отражением английской моды, господствовавшей в ту эпоху. И, как ни удивительно, познакомил русских читателей с этими английскими словами французский описатель нравов Виктор Жуи. В его книге “Лондонский пустынный, или Описание нравов и обычаев англичан в начале XIX столетия” (1820), вышедшей в 1822 году в русском переводе, при описании высшего света рассказывается о двух видах английских щеголей. Об одном из них он отзывается с явным восхищением: “В Лондоне существует некоторый особый класс людей, знающих так хорошо сообразоваться с обычаями большого света, и так искусно умеющих показывать себя по наружности обладателями великого богатства, что они всегда бывают приняты в лучших обществах: это *фашионебли* (*fashionables*)”. В то время как новый тип щеголей, появившихся в 1810-е годы – *дендий* – является, по мнению автора, ре-

зультатом повреждения нравов: “существа, не похожие ни на мужчин, ни на женщин, ни на обезьян, но которые, кажется, соединяют в себе отличительные черты трех родов”.

Отмеченное противопоставление *дендий* и *фашионебль* характеризует жизнь этих слов в русском языке: на протяжении почти полувека многие авторы и лексикографы пытались разграничить их значения. Примером наиболее четкой конкретизации значений этих слов может служить статья из Справочного энциклопедического словаря А.В. Старчевского: “**Денди** (Dandy), английское слово, вошедшее в употребление в современной Европе для обозначения изящного светского человека и равносильно слову *фешенебль*. Различием между тем и другим можно принять то, что денди создает моду, а фешенебль следует ей” (СПб., 1855. Т. 4).

Орфографическая же судьба этих слов была примерно одинаковой и представляет собой движение от английского написания к русскому через несколько переходных ступеней. Так, для передачи слова *dandy* использовались следующие варианты: *dandy*, *дендий*, *данди*, *денди*. Получившая широкое употребление в середине XIX века форма *дэнди* не выдержала конкуренции с *денди*.

Употребление слова *fashionable* тоже сопровождалось орфографической вариативностью. Чаще всего оно встречалось в английском написании, как, например, в письмах А.И. Тургенева к П.А. Вяземскому, приводимых в качестве примера в “Словаре иноязычных слов и выражений”, составленном А.М. Бабкиным и В.В. Шендецовым (Л., Наука, 1981): “Первый дрезденский *fashionable*, барон Мальцан, бился за сто луидоров, что один месяц и один день будет ходить всюду в розовом платье, в розовых сапогах и в розовой шляпе”.

В письме П.А. Вяземского к жене от 22 апреля 1830 года встречается необычная форма этого слова – через *-sch-* (на немецкий лад): «Вот что Александр Тургенев пишет из Парижа: “Соболевский, который месяца четыре был здесь в числе *fashionables* и в туфлях ездил на вторники *Mad. Ancelot*, уехал через Брюссель и Голландию в Лондон”. Передай это Пушкину. Соболевского туфли меня восхищают: к нам он придет в портках, и то еще слава богу, что в портках. Простите еще раз» (Звенья. М.–Л., 1936. Т. 6).

Новомодное слово настолько прочно вошло в речевой обиход, что *fashionable* становится героем многих художественных произведений. Так, В.А. Соллогуб в своей повести “Большой свет” (1840) одного из персонажей, великосветского модника князя Чудина, называет то *денди* (глава VII), то *fashionable* (глава XI). Н.А. Огарев великосветским модникам посвятил стихотворение с названием “*Fashionable*” (1841).

Русифицированная форма *фашионебль* (ее вариант – *фашьонебль*), отражающая английское написание, нередко встречалась в статьях популярного журнала “Московский телеграф”: “Конечно, Байрон не увлек бы с собою века, если бы он выражал только то, что соотечественник его читает в Шекспире, или чувствует в Парламенте, или презирает в собраниях *фашионеблей* и на шумных сборищах Лондонской черни” (1830. Ч. 32. № 6).

Эта же форма употреблена была князем В.Ф. Одоевским в его утопии “4338-й год” (1835) при описании общества будущего: “Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы, – это никому не покажется странным; записные ж *фешионабли* решительно молчат по целым вечерам, – это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большой неучтивостью”.

В “Путевых письмах из Англии, Германии и Франции” (1839) Н.И. Греча граф А. д'Орсэ, которого впоследствии называли *принцем денди*, именуется не *денди*, а “первый *фашионабль*, охотник, верховой ездки, франт и знаток всех светских важностей и мелочей, законодатель моды и вкуса” (Греч Н.И. Путевые записки из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839. Ч. 1).

Появление формы *фашионабль* обусловлено сильным влиянием французского языка в эту эпоху. Тем более что английское слово *fashionable* проникло и во французский язык, что нашло свое запоздалое отражение во французско-русском словаре И.И. Татищева, где оно было зафиксировано как французское слово: “**Fashionable**, s.m. Модник, щеголь” (Татищев И.И. Всеобщий французско-русский словарь. Изд. 3-е, вновь доп. и испр. М., 1839–1841. Т. 1–2).

В 30-е годы появляется форма *фешенебль*, отражающая английское произношение. Предшествовало же ее появлению написание *фашьенебль*, встретившееся в журнале “Московский наблюдатель” за 1835 год в очерке “Воспоминания о московских балах”: “Давно в Москве не было зимы, такой шумной, как прошедшая зима 1835 года (...) Прощай, пышная, суетливая, гремящая балами зима! Ты надолго останешься в воспоминаниях усталых девушек, расчетливых супругов, *фашьенеблей* с тросточками и без тросточек, офицеров, которым отпуск уже кончился и которые лениво садятся в дорожную кибитку!” (Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1).

И уже на следующий год в этом же журнале появляется форма *фешенебль* в статье *Börsen-Halle* “Денди древнего Рима” (Московский наблюдатель. 1836. Ч. 9), в которой древнеримские щеголи назывались то *денди* (чаще всего), то *франты*, то *фешенебли*, и из их описа-

ния делался вывод, “что дендизм совсем не есть отличительная черта новейшего времени”.

Однако в художественных произведениях существительное в этой форме встречается редко, поскольку в 1840-е годы вновь активизируется употребление английской формы *fashionable*. Наряду с уже указанными произведениями В.А. Соллогуба и Н.А. Огарева, особый интерес в этом плане представляет повесть И.И. Панаева “Онагр” (1841), в 1-й главе которой встречаются обе формы: написание *fashionable* используется при описании французского общества: “Всем и каждому известно, что цари высшего парижского общества, некогда называвшиеся: *homes a bonnes fortunes, incroyables, dandy fashionables* и так далее, теперь носят страшные имена *львов*”. Форма же *фешенебль* применялась при описании русского общества: «Вследствие этого у нас были некогда денди и фешенебли, теперь у нас есть и “львы”».

В 50-е годы XIX века это слово стало постепенно выходить из употребления, в то время как *денди* продолжало активно использоваться, особенно в критической литературе. В это же время начинают друг за другом появляться словари иностранных слов, которые, каждый по-своему, отражают жизнь этих слов в русском языке.

Так, в словаре некоего А.С. “Объяснение 1000 иностранных слов, употребляющихся в русском языке” (М., 1859) высказывается пуристическое мнение о выходе из употребления слова *денди* и замене его словом *фешенебль*: “**Денди.** Франт хорошего тона. Это выражение устарело и заменилось словами *фешенебль* и *джентльмен*, также как русское устаревшее слово *франт* заменилось современным *порядочный человек* и уцелело только как синоним человека, наклонного к щегольству, но не обладающего вкусом”. Но, видимо, составитель словаря явно поспешил с выводами, отразив взаимодействие названий щеголей (*денди, фешенебль и джентльмен*) в тот момент, когда результаты этого взаимодействия были далеки от своего оформления. В действительности же все было наоборот.

Скорее всего, был прав В.Н. Углов, который в своем “Объяснительном словаре иностранных слов, употребляемых в русском языке” (СПб., 1859) снабдил оба слова – *фешенебль* и *денди* – примерно одинаковыми толкованиями, отражающими стершуюся к тому времени границу между лексическими значениями этих слов: “**Фешенебль, англ.** Человек, строго держащийся моды”; “**Денди, англ.** Человек, одевающийся по моде”.

И именно в этом значении постепенно выходящее из употребления слово *фешенебль* чаще всего встречалось в словарях вплоть до конца XIX века, причем опять-таки в различных орфографических вариантах: “**Фешіонабль, англ.** Великосветский человек, строго следующий

светским обычаям” (Дубровский Н. Полный толковый словарь всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык. Изд. 15-е, М., 1897). Судя по форме, в которой употреблено это слово, можно предположить, что при составлении словаря автор опирался скорее всего на публицистическую литературу.

Один из последних примеров употребления слова *фешенебель* находим в романе П.Д. Боборыкина “На ущербе” (1890) при описании главного героя, Егора Петровича Ермилова, который, приехав зимой в Москву, отправился к Анне Гавриловне Вогулиной на чашку “кофею, по-московски”: “Он надел, для прогулки, бекеш с бобром. Этот нежный мех молодил его; хоть он и соблюдал моду, но мерлушковых стоячих воротников петербургских фешенебелей недолюбливал”.

Исчезнувшее из русского языка слово *фешенебель* оставило после себя прилагательное *фешенебельный*, появившееся в середине XIX века. Если же говорить о происхождении этого прилагательного, то нерешенным остается вопрос о том, является ли оно образованием от существительного *фешенебель* (с суффиксом -н-) или заимствованием из английского, поскольку, как известно, в языке-источнике слово *fashionable* является одновременно и существительным, и прилагательным. Поэтому неудивительно, что в начале XX века, когда слово *фешенебель* окончательно вышло из литературного обихода, В.А. Богородицкий воспринимал его как “новообразованное существительное, теперь не употребительное” (Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. Казань, 1911. Изд. 3-е значит. доп. Гл. XVII, “О заимствованных словах”).

Употребление прилагательного *фешенебельный* в текстах отмечается с 1830-х годов, и первоначально этот неологизм использовался в описательных оборотах с названиями лиц для обозначения человека, следующего светской моде и ведущего характерный для светского общества образ жизни.

Один из первых авторов, использовавший сочетание *фешенебельные люди*, был современник А.С. Пушкина М.Н. Загоскин, который в повести “Три жениха” (1835) дал следующее описание дома княгини Ландышевой: “Дом ее был сборным местом всех модных дам высшего круга и молодых фешенебельных людей всей губернии”.

В упомянутой утопии В.Ф. Одоевского “4338-й год” (1835) наряду со словом *фешенебель* употребляется и *фешенебельный*: “У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях при движении производили ослепительный блеск”. Стоит отметить, что здесь использование этого слова вполне оправданно, поскольку в русском языке у слова *фешенебель*

не было эквивалента для обозначения лиц женского пола, и данный описательный оборот оказался удачным восполнением пробела.

К 50-м годам XIX века прилагательное *фешенебельный* прочно закрепляет свои позиции в литературно-речевом обиходе, в частности, в критических работах А.В. Дружинина, посвященных анализу художественных произведений последних лет. В одном из “Писем иногороднего подписчика” (письмо 15-е, 1850) Дружинин характеризует состояние современной литературы следующим образом: «Литературный дендизм и фешенебельные рассказчики движутся, наступают и своими военными кликами потрясают скромные стены нашего “храма муз”» (Дружинин А.В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 6). Затем, приступая к описанию творчества Эдварда Литтона Бульвера, автора популярного в то время романа “Семейство Кокстонов”, Дружинин причисляет его к *фешенебельным* романистам: «Приглядевшись к свету, он написал роман из светской жизни и назвал его “Пильгем, или приключения джентльмена”. Роман имел огромный успех, он был первым из романов высокого круга (high life); только в нем не было недостатков, свойственных другим фешенебельным романистам» (Там же).

В художественной литературе появляются словосочетания *фешенебельное общество*, *фешенебельный свет* по аналогии с устойчивыми сочетаниями *светское общество*, *высший свет*. Один из таких примеров находим в романе Д.В. Григоровича “Проселочные дороги” (1852): объясняя причину, побудившую героя произведения, Бобохова, провести остаток дня “как можно веселее, где-нибудь за городом”, автор пишет, что “день был праздничный, и, по всем соображениям, в загородных местах сосредоточится фешенебельный, модный свет древней столицы”.

Описательные обороты со словом *фешенебельный* все чаще сменяют привычное сочетание *светское общество* на страницах художественных и публицистических произведений. Так, характеризуя тот круг, в который попадает главный герой романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”, Д.И. Писарев в своей статье “Базаров” (1862) использовал следующий оборот: “Тургенев имел право взять своего героя в одной из таких мастерских и привести его в рабочем фартуке (...) в общество фешенебельных кавалеров и дам”.

Неудивительно, что все, кто имел отношение к светскому обществу, нередко характеризовались этим модным словом. В романе Н.С. Лескова “Некуда” (1864) эпитетом *очень фешенебельный* наделяется даже швейцар из “очень парадного дома на невской набережной Васильевского острова”, куда пришел герой романа Розанов: “Ему отпер пожилой и очень фешенебельный швейцар (...) Швейцар

улыбнулся, как улыбаются старые люди именитых бар, говоря о своих новых хозяевах из карманной аристократии”.

Вместе с тем с середины XIX века стала расширяться сочетаемость этого прилагательного, что сопровождалось расширением лексического значения слова и, в частности, развитием нового значения – “отвечающий вкусам и требованиям модного светского общества”. Так, например, у того же А.В. Дружинина в 15-м “Письме иногородного подписчика” (1850) встречаются необычные сочетания *фешенебельные рассказы* и *львиные повести*, использованные автором при характеристике появившихся в то время в большом количестве произведений, посвященных жизни высшего света: “А то худо, что, зачитываясь над подобными описаниями, забываешь о приближении неприятеля, о нашествиях львиных повестей, фешенебельных рассказов”.

Другой мастер слова – И.С. Тургенев – в своем романе “Отцы и дети” (1861) прибегает к необычному использованию эпитета *фешенебельный*, чтобы показать принадлежность героя к слоям высшего светского общества: “Между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти”.

Слово *фешенебельный* вступает в синонимические отношения со словами *изысканный*, *элегантный*, *модный*. “В сениях я наткнулся на высокого, плотного господина с фешенебельными бакенами и в франтовском пальто”, – так описывает героя своего рассказа “Тайный советник” (1866) А.П. Чехов, акцентируя внимание на его стремлении подражать моде. Этот пример интересен прежде всего тем, что отражает дальнейшее расширение значения: *фешенебельный* здесь не столько “отвечающий требованиям великосветского общества”, сколько просто “модный, отвечающий требованиям моды”.

В XX веке это последнее значение закрепляется как основное, и прежде всего потому, что великосветское общество начинает восприниматься как “буржуазное”. В связи с этим исходное значение “отвечающий вкусам и требованиям модного светского общества, а также “следующий светской моде; ведущий характерный для светского модного общества образ жизни” сопровождаются либо пометой в *буржуазном обиходе* (Толковый словарь русского языка. В 4 т. Под ред. Д.Н. Ушакова), либо пометой устаревшее (Словарь современного русского литературного языка. В 17 т.). Зато никаких помет не имеет другое значение – “отвечающий требованиям лучшего вкуса и моды; элегантный, изысканный”, – оформленное впервые как самостоятельное значение многозначного слова *фешенебельный* в 17-томном Словаре современного русского литературного языка и выступающее

как единственное значение этого слова в 4-томном Словаре русского языка.

В последнее десятилетие слово *фешенебельный* закрепилось в рекламной сфере и воспринимается как слово стилистически окрашенное, книжное и слегка архаичное. Чаще всего оно встречается в рекламных текстах туристических фирм и новостных сводках информационных агентств, представленных в сети Интернет, и употребляется применительно к названиям мест: *фешенебельный курорт, отель, дом, особняк, офис, район, ресторан, торговый комплекс, горный дом, бассейн* и т.д. Отзвуки подобного “рекламного” употребления заметны и в других сочетаниях, как, например, в высказывании поэта Юрия Ореховацкого: «Главное пожелание читателям “Царскосельской газеты” на все грядущие времена – беречь истинные драгоценности бытия, не разменивая ее на фешенебельный вещизм и сюжесекундные вожделения».



Псивый и сивуха

Н. С. АРАПОВА

кандидат филологических наук

Прилагательного *псивый* нет в словарях, даже у Даля. Однако автор этих строк слышала его с самого детства, и притом довольно часто. Тогда почти не было стиральных порошков, стирали хозяйственным мылом. Выстирав и выполоскав белые вещи, их подсинивали. “Синька кончилась, поди купи в нефтелавке. Белье раз не подсинишь, два не подсинишь, а потом оно так *записивеет*, что его ничем не возьмешь”; “Стирай почаще, а то белье *записивеет* – и не откипятишь”; “У вас постельное белье белоснежное, да не стерильное, а у нас в больнице, хоть и *псивое*, да зато абсолютно стерильное. Главное обеззаразить, а подсинивание – один марафет”; “Белый крепдешин после нескольких стирок начинает *псиветь* и теряет вид”; “Манька стирать не умеет, *перепсивила* все белье”.

Итак, в московском просторечье широко бытовало прилагательное *псивый* и его производные – *псивенький*, *псивоватый*, *псиветь*, *записиветь* и т.п. “*Псивый* – это белый с серовато-желтым оттенком, темнобелый”, как шутил один остролов.

Псивым белье делалось не только от неумелой стирки. Рубахи становились *псивыми*, когда их долго носили, не стирая. Заношенное белье приобретало неприятный цвет и запах. Последнее обстоятельство и является мотивирующим для слова *псивый*. То есть исходное значение слова *псивый* – “воняющий псиной”, а значение “грязно-белый, несвежий, застиранный, затасканный” вторично.

Хотя прилагательного *псивый* у Даля нет, но глагол *псиветь* отмечается: “**Псиветь**, пситься, портиться; паршиветь // *пск*[овское] плеснить”; там же, но выше “**Псить**, вонять псиной. *От него псит*, как *от козла* (...) **Псить**, *псовать*, *псувать* *зап*[адное] и *юж*[ное] **псотить** *орл*[овское], *вор*[онежское] что, портить, губить, изводить, зорить (...) **Запсовать** *одежду*, затаскать, загрязнить” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1882. Т. III).

Словообразовательная структура слова *сивуха* “низкокачественная дешевая водка с отвратительным запахом, который сообщают ей неотфильтрованные сивушные масла” кажется прозрачной: корень *сив-* (*сивый*), суффикс *-ух(а)*, ср. *желтуха*, *чернуха* и т.п. А. Преображенский, помещая слово *сивуха* “неочищенная водка” в число производных от прилагательного *сив(ый)*, ставил в скобках вопрос: “(Сю-

да?)” (Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1910–1914. Т. 2). К этому объяснению склонялся и М. Фасмер: “Вероятно, названа из-за окраски”, отвергая предположение Матценуэра о родстве русского *сивуха* с латышским *sivs* “острый, едкий” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. III).

Мы предлагаем другое объяснение. *Сивуха* из возможного *псивуха*, от *псивый* “воняющий псиной, имеющий противный запах”. В Словаре В.И. Даля *псина* толкуется как “дух, запах песий, вонь от собак; но гов[орится] также о козле. *Козла выжили, а все псиной воняет. Нешет псиной, как от козла* <...> **Псиный**, песий, псовый. *Псиный дух*” (Даль. Указ. соч.). О том, что *псина* – это “противный запах вообще (а не только от собаки)”, свидетельствует и приводимое В.И. Далем название растения *псинка* “паслён”, листья которого имеют неприятный запах (другое народное название этого растения – *бзника*).

От существительного *псина* “вонь” с помощью суффикса *-ух(а)* было образовано слово *псинуха* “дешевая водка низкого качества”. Оно зафиксировано в “Писмословии” Н.Г. Курганова 1769 года: “Французская [водка] недорого по восьми гривен штоф, а сивухи или псинухи почти в два с двадцатью ведро”.

Итак, по нашему предположению, в название дешевой неочищенной водки положен признак неприятного запаха. Один и тот же суффикс *-ух(а)* присоединялся к основам синонимичных прилагательных *псиный* и *псивый*, образуя синонимы *псинуха* и *псивуха*. Но слово *псинуха* бесследно исчезло из русского языка, а слово *псивуха* деэтимологизировалось и превратилось в *сивуху*.

За знакомой строкой



Как урыльник стал будильником

*И. Г. ДОБРОДОНОВ,
доктор филологических наук*

В поэме “Граф Нулин” встречается слово *будильник*:

Ложится он, сигару просит,
Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник
И неразрезанный роман.

Этой иллюстративной (слегка укороченной) цитатой снабжена дефиниция слова *будильник* в академическом семнадцатитомном “Словаре современного русского литературного языка” (М.–Л., 1950. Т. 1): “Часы с специальным заводным механизмом, который звонит в определенное, намеченное время”.

Применительно к цитате из “Графа Нулина” это толкование следует признать анахроничным, ибо сверстник А.С. Пушкина и его

близкий друг В.И. Даль в своем знаменитом “Толковом словаре живого великорусского языка” дает этому слову следующее определение: “*Будилька* ж., *будильник* м. *стар.* будильщик, будила; *ныне* снаряд, приспособленный к часам или по себе, в роде часов устроенный, таким образом, что звоном или грохотом будит спящего в любой час” (М., 1955. Т. I).

В наше время этот прибор, вероятно, получил бы английское название *таймер*.

В XVIII веке были еще в ходу названия *будильные часы*, *часы с будильником* (Словарь русского языка XVIII века. Л., 1985. Вып. 2), на базе которых позже возникло наше слово *будильник*. Современный А.С. Пушкину “Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или Этимологический лексикон русского языка” Ф.И. Рейфа еще называет *часы с будильником* = *montre à réveil* (СПб., 1835. Т. I).

Название часов *будильник* скорее представляется образованием на базе сочетаний *будильные часы*, *часы с будильником*, чем результат лексико-семантического способа словообразования на базе *будильник* “будильщик”, что предполагается единственно возможным у Н.М. Шанского (Этимологический словарь русского языка. М., 1975. Т. I. Вып. 2).

В обоих изданиях академического “Словаря языка Пушкина” слово *будильник* не получило никакого отражения. Трудно сказать, почему оно было обойдено пушкинистами-лексикографами и не попало в “Словарь языка Пушкина”. Во-первых, это могло быть результатом простой небрежности в сопряжении с боязнью сделать ошибку; во-вторых, это могло быть результатом учета особой истории этого слова в тексте “Графа Нулина”, куда его ввел не А.С. Пушкин, а император Николай I, который, по воспоминаниям хорошо знавшей Пушкина А.О. Смирновой (Россет), «...взялся быть его цензором. Государь цензуровал “Графа Нулина”. У Пушкина сказано “урьльник”. Государь вычеркнул и написал – “будильник”. Это восхитило Пушкина. “Это замечание джентльмена. А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой”» (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974).

В первое издание “Словаря языка Пушкина” (1956–1961), слово *урьльник* тоже не попало, но было объяснено в “Новых материалах к словарю А.С. Пушкина” 1982 года как новое слово единственного употреблением: “**Урьльник** (н.с.) (I). *Ночной горшок*. {Monsieur Picard ему приносит –} Щипцы с пружиною, **урьльник** ГН169”. Одновременно оно попало в обширный «Список слов, не зарегистрированных в “Словаре языка Пушкина”» в конце “Новых материалов...” и было сохранено в этом “Списке...” во втором издании “Сло-

варя языка Пушкина” (М., 2000. Т. IV), хотя оно в нем уже фигурирует в “Дополнениях к словарю” (Там же).

Согласно данным справочного отдела семнадцатитомного “Словаря современного русского литературного языка” (М.–Л., 1964. Т. 16), предок слова *урыльник* в форме *уринник* был отмечен лексикографически в “Немецко-латинском и русском лексиконе” Э. Вейсмана (СПб., 1731) и позже в трехтомном “Новом российско-французско-немецком словаре” Ивана Гейма (М., 1799, 1801, 1802) уже в форме *урильник*, которая закреплена в “Словаре церковнославянского и русского языка, составленном Вторым отделением имп. Академии наук” в 1847 году вместе с целым рядом родственных слов (Т. IV): “**Урильник**, а, с.м. Ночной горшок. **Урильничек**, чка, с.м. ум. слова у р и л ь н и к . **Урина**, ы, с.ж. Моча. **Уринный**, а я , о е , пр. Относящийся к урине, свойственный урине. *Уринный запах*”.

В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля сохраняются обе формы этого слова в составе гнезда: “**Урина** латн. моча человека, животного. **Уринник**, **урильник**, сосуд для мочи” (М., 1955. Т. IV).

С большим опозданием форма *урыльник*, встретившаяся уже у А.С. Пушкина в первоначальном тексте “Графа Нулина”, была включена [в квадратных скобках] лишь в третье издание словаря В.И. Даля его редактором И.А. Бодуэном де Куртенэ: “**Урина** [ж.], лат. [urīna], моча человека, животного. **Уринник**, **урильник**, [**урыльник** м.] сосуд для мочи, [ночной горшок]” (СПб.–М., 1909. Т. IV).

“Толковый словарь русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова (вслед за третьим изданием Толкового словаря В.И. Даля – И.А. Бодуэна де Куртенэ) форму *урыльник* подает как отсылочную к *урильник*, где обе формы рассматриваются как устаревшие и почти равноправные: “**Урильник** и у р ы л ь н и к , а, м. [из у р и н н и к о т у р и н а] (устар.). Ночной горшок для мочи”. “**Урина**, ы, мн. нет, ж. [латин. urīna] (физиол., мед.) Моча” (М., 1940. Т. IV).

Составители советских академических четырехтомного “Словаря русского языка” и семнадцатитомного “Словаря современного русского литературного языка”, не располагая подтвердительными цитатами, механически воспроизвели для этого, уже устаревшего слова лишь его архаическое отражение *урильник* из академического словаря 1847 года без цитат в четырехтомнике или только с одной цитатой в семнадцатитомнике: “*Сюда приехал сотрудник какой-то московской газеты... Из новгородских дворян, дядя его где-то около Новгорода унитазы и урильники строит*. М. Горький, Жизнь Клима Самгина, IV”. Да и современные словари приводят в качестве обязательной фальшивую форму *урыльник*, безнадежно устаревшую.

Этим не заканчиваются злоключения уже устаревшего слова *урыльник* (с его еще более устаревшими вариантами *уринник*, *уриль-*

ник), ослабленная связь которого с исходным словом *урина* привела к тому, что оно совсем не было включено в гнездо “Словообразовательного словаря русского языка” А.Н. Тихонова (М., 1985. Т. I–II), а его производящее (мотивирующее) слово *урина* попало в список “Одиночные слова” (Т. II). Нет его и в словаре-справочнике “Редкие слова в произведениях авторов XIX века” под редакцией Р.П. Рогожниковой (М., 1997), хотя материалы “Словаря языка Пушкина” с дополнениями были включены в него.

Отсутствие в современных русских словарях формы *урыльник*, приводит к совершенно ошибочной ее трактовке: «**Урыльник**. “Умывальник” | Из языка парикмахеров, цирюльников; Е. Иванов. Вероятно, от прост. “рыло” ||» (Елистратов В.С. Язык старой Москвы. М., 1997). Ошибочное отождествление “**урыльник**, умывальник” дает и “Российский историко-бытовой словарь” Л.В. Беловинского (М., 1999).

Слово *урыльник* сохранилось в местных русских говорах, например, находим его в “Иркутском областном словаре” (Иркутск, 1978) как нижеилимское слово: “**Урыльник**, -а, м. Ночной горшок, судно. *Урыльник-та ишиша пат краваттю, ни урани, а то напахнят*. Н.-ил. Погодаева”. Этот же словарь не подтверждает наличие в братских говорах зафиксированного сводно-академическим “Словарем русских народных говоров”: “**Курильник**, -а, м. Детский горшок. *Дитю своему курильник купил*. Братск. Иркут., 1970” (Л., 1980, Вып. 16).

Слово *урыльник* сейчас безнадежно устарело, почти вышло из употребления, а если оно и встречается, то часто понимается в духе старинной шутки парикмахеров как “умывальник” по созвучию со словом *рыло* в духе народной этимологии или историко-этимологических каламбуров.

Составители русских областных словарей считают его уже сугубо диалектным и включают в свои словари, причем на первое место ставят значение “умывальник”, как это сделано в “Словаре говоров Подмосковья” А.Ф. Ивановой (М., 1969), где значение “умывальник” отмечено в пяти селениях Талдомского района с характерными примерами: “**Урыльник** – *этъ рукомойник, он висит на гвозде, носиком к книзу*” (Новое Волково); “**Урыльник** *железный есь, раньшы глиняные были рукомойники-тѣ*” (Домославка); “**Урыльник** *летѣм вешѣм ф сенах, а зимой умываемся в ызбе*” (Затула).

Правда, со старым значением “ночной горшок” слово в Московской области известно все-таки значительно шире – в Загорском, Зарайском, Люберецком, Орехово-Зуевском, Подольском, Серебряно-Прудском и Щелковском районах: “**Урыльник** – *этѣ тожы кастрюлька с ручкѣй збоку, дети ходят в нево*” (Беседы, Щелк. р-на); “**Раньшы урыльники были, как кринкѣ, черепаные, а теперь лужоные**” (Горбуны, Щелк. р-на); “**Сидит малый на урыльнике и плачет**”

(Слотино, Загорск. р-на); *“Урыльник – этъ горшок, детям пѣтстав-
ляем лет дѣ пѣти”* (Ботово, Орех.–Зуев. р-на).

Также более широкое распространение старого значения “ночной горшок” у слова *урыльник* показывает “Словарь русских говоров Среднего Урала” (Свердловск, 1987. Т. VI): Березовский, Невьянский, Сысертский и Шалинский районы Свердловской области. Наиболее характерные примеры записаны в деревне Б. Исток Сысертского района: *«Раньше урыльник-от был глиеной с руцкѣй, а теперя вон малерованы, и называюща-то по-чудному: “ночна ваза”»*; *“Пашенька под урыльник-от стульчик такой узорной сделал, робѣнок-от на тёплом сидит”*.

В значении “умывальник” *урыльник* употребляется в Тюменской области: *“Урыльник-от на улку выставила: топеря лето, умывайся тамо”* (деревня Молчанова Тюменск. р-на); *“Подойди-ко к урыльнику да умойся хорошенько”* (деревня Каменка Рязенского р-на), а также в Тугулымском районе Свердловской области. “Словарь русских говоров Приамурья” (М., 1983) отмечает употребление слова *урыльник* “умывальник” в селе Албазине Сковородинского района Амурской области: *“Налей воды в урыльник да вымой руки”*.

Вычеркнутое царской рукой из поэмы “Граф Нулин” А.С. Пушкина не очень приличное слово *урыльник* сейчас доживает свой век в русских областных говорах, но перед окончательным исчезновением у него происходит также утрата первоначального значения, а это знак вырождения слова.



В течение, в продолжение, в заключение, вследствие

В. Г. ЗДАНКЕВИЧ

В современной речи близко к звуку [и], а иногда и тождественно с ним произносится безударный звук, обозначаемый на письме буквой *е*. Не определяется произношением конечная гласная и в производных предлогах *в продолжение, в течение, в заключение, вследствие* и в сходных с ними по звучанию существительных с предлогом *в*. Чтобы не ошибаться в их написании, необходимо, во-первых, задать к проверяемым словам вопрос от сказуемого *и*, во-вторых, запомнить:

1. На конце слов *течение, продолжение, заключение, следствие* буква *и* пишется только в одном-единственном случае – если эти слова (в сочетании со сказуемым) отвечают на вопросы *в чём? где?* (предложный падеж).

Например: Крутые изгибы встречаются (в чём? где?) в течениИ этой реки. Новые персонажи появились (в чем? где?) в продолжениИ романа. Причины аварии были перечислены (в чём? где?) в заключениИ экспертов. Опытный криминалист участвовал (в чём?) в следствиИ.

2. Букву *е* на конце этих слов следует писать при наличии других вопросов.

Запомнить! Все названные слова пишутся с предлогом *в* раздельно, и лишь предлог *вследствие* в значении “по причине” (отвечает на вопрос *почему?*) пишется слитно.

Например: Щепка попала (во что? куда?) в течениЕ реки и быстро уплыла. Я заглянул (во что? куда?) в продолжениЕ романа. Преступника препроводили (куда?) в заключениЕ. Адвокат внес полную ясность (во что? куда?) в следствиЕ по делу своего подзащитного. Дождь шел (как долго?) в течениЕ (в продолжениЕ) всей ночи. Певец, завершая концерт, исполнил (когда?) в заключениЕ популярный романс. Поезда опаздывали (почему?) вследствие снежных заносов.

Среди книг

СЛОВАРЬ И КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ

В истории русской науки и культуры есть имена, вошедшие в жизнь каждого современного человека, осознающего принадлежность к родной земле и ее языку. Одно из таких культовых имен 20-го столетия – Сергей Иванович Ожегов (1900–1964) – видный ученый-лексикограф, крупнейший специалист по культуре речи и стилистике. Но о каких бы направлениях в его деятельности мы ни говорили, везде звучит его имя прежде всего как автора знаменитого “Словаря русского языка”, которому уже более 50 лет. Это значит, что не одно поколение людей выросло с ощущением языковой действительности, воссозданной на страницах этого труда, обучалось и принимало во внимание его опыт, устремления и горячее желание культурными средствами (язык – материя духа) познавать обыденный мир вещей.

Поэтому отрядным событием стал выход книги “Словарь и культура русской речи. К 100-летию со дня рождения С.И. Ожегова” М.: Индрик, 2001). Эта книга была задумана и осуществлена коллегами и учениками С.И. Ожегова, исследователями и почитателями его творчества. В этом залог подлинности данного произведения, живого, дышащего родной речью, современного, в чем-то даже дискуссионного и, если угодно, столь же обаятельного и благородного, каким и был С.И. Ожегов.

Теперь, когда поутихла стихия юбилейной суеты, можно медленно, с вниманием и внутренней сосредоточенностью читать этот па-

мятник русскому просветителю и педагогу Сергею Ивановичу Ожегову.

Все статьи книги (скажем заранее, что мы не будем обсуждать каждую из них), очень разнообразны в предметном отношении, объединяются одним настроением – сквозь ткань языка и его же средствами показать, как богат и глубок словесный мир, способный выразить и тонкие чувства, и строгие теоретические разработки, и индивидуальность пишущего. И везде, за строками каждой работы, казалось, стоит облик С.И. Ожегова, с доброй иронией и любовью взирающего на происходящее. Оттого, наверное, почти все, что вошло в книгу, вызывает не формальный, а живой познавательный-полемический интерес к слову как наиважнейшей ипостаси человеческой мысли.

Композиционно издание расположено, на наш взгляд, разумно. В нем нет традиционного деления на “проблемы”, а есть их фиксация в порядке следования авторов, так или иначе выражающих общий гуманитарно-просветительский настрой книги. Она открывается статьей Н.Ю. Шведовой “Автор или составитель (Об ответственности лексикографа)”, обдумывающей сложные перипетии словарной работы, где “ответственной информацией насыщено не только каждое слово авторского текста, но и их расположение, последовательность, а также знак, значок, сопровождающий и организующий текст” (С. 13). Следующая далее работа В.Г. Костомарова «С.И. Ожегов: русская речь и “Русская речь”» содержит темпераментные, насыщенные редкими эпизодами воспоминания одного из близких учеников С.И. Ожегова. Он рассказывает о том, как создавался журнал “Русская речь” и каковы были его задачи, о работе С.И. Ожегова на посту заведующего Сектором культуры речи Института русского языка АН СССР и многом другом, дополняющем известный облик ученого безщ. глянца, просто и естественно раскрывающем незабываемый силуэт русского ученого-интеллекта.

Среди авторов сборника и известные ученые, и те исследователи, чьи взгляды формировались в 1990-е годы уже новыми приоритетами, но с той же культурной традицией, которая позволяет и сейчас ощущать преемственность времен и поколений. Поэтому такие “несоединимые” проблемы, как, например, информационные технологии, правописание слов, “риторические идеалы” и языковая политика, кажутся здесь уместными и вполне оправданными по одной причине: все они описывают мир не глазами С.И. Ожегова, но его идеями, развитыми и воплощенными в другой атмосфере, в иных условиях лингвистического пространства времени. Так, с большим интересом и сочувствием читаются статьи Ю.А. Бельчикова «“Словарь русского языка” в контексте научной деятельности С.И. Ожегова», А.А. Брагиной “Мир реальный – мир виртуальный в мире слов”, В.Л. Воронцовой “О нормах ударения префиксальных имен существительных”, Л.К. Граудиной “Культура речи: социопрофессиональные течения и научные цент-

ры”, В.П. Григорьева «Еще один “Велимир Хлебников”», Н.А. Еськовой “Несколько лексикографических веселостей (отчасти – грустностей) вместо воспоминаний о Сергее Ивановиче Ожегове”, Л.Ю. Иванова “Воздействие новых информационных технологий на русский язык: системно-языковая и культурно-речевая проблематика”, Е.С. Кара-Мурзы «“Дивный новый мир” российской рекламы: социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты», Л.П. Катлинской “О тактических просчетах в языковой политике”, Л.П. Крысина «К типологии лексических “неправильностей”», Л.Н. Кузнецовой “Заметки о произношении актеров в последней четверти XX века”, В.В. Лопатина “Прописная буква в орфографическом словаре общего типа”, М.В. Ляпон “Отношение к стереотипу и речевой портрет автора”, Л.И. Нефедьевой “Особенности современного употребления стилистических славянизмов в религиозно-нравственной (духовной) речи”, Л.А. Новикова “Что стоит за слитным написанием *НЕ* с глаголами у А.А. Потемкина”, О.Б. Сиротининой “Типы речевых культур и проблема кодификации норм”, А.П. Сквородникова «О понятии “русский риторический идеал”», Г.Я. Солганика “Свой текст – чужой текст”, О.Б. Трубиной “К вопросу о маргинальном (жаргонном) дискурсе”, Э.И. Хан-Пиры “Вторая жизнь старого значения слова *успешный*”, Л.К. Чельцовой “О некоторых трудных случаях написания многосоставных названий”, В.Н. Шапошникова “О стилевой конфигурации русского языка на рубеже XXI века”, Б.С. Шварцкопфа “Колебание нормы: его сущность и статус в культурно-речевом и теоретическом плане”, А.А. Шунейко “Оценки речи и речь оценок (На материале творчества Венедикта Ерофеева)” и другие.

Как видно из перечня, в книгу включены разнообразные и действительно во многом новаторские, проблемные статьи о системе языка в разных культурных плоскостях. Эта часть, думается, заинтересует читателя и обилием полезных примеров, почерпнутых авторами из произведений художественной литературы, СМИ, речевого обихода. Комментарии многих ученых, их авторитетная оценка и выраженные порой дискуссионные идеи позволяют решать важную задачу освоения языкового пространства разными средствами и методами и ярче высветить основное концептуальное ядро книги: *культура языка – культура речи – культура общества*.

В этом смысле первая часть сборника может быть еще и пособием для студента и преподавателя, интересным собеседником для вдумчивого иностранца-русиста. В ней собраны колоритные эпизоды и нет стереотипа, замкнувшего бы проблематику “внутри себя”. Здесь – наоборот: авторы статей как бы вовлекают и читателя в дискуссию, призывают его откликнуться и принять “культурную” систему координат книги, ее исходное созидательное начало. Думается, что во многом это было достигнуто, а главное, не один год можно будет пользоваться перспективными идеями и находить с их помощью новые пути

исследования системных отношений. Наблюдать за ними, учиться их понимать и думать над тем, как возникает и живет то или иное явление в языке – вот главный “лингвистический” призыв этой части. Столь же дерзкий, сколь и вдохновенный!

Вторая часть “С.И. Ожегов: архивные материалы” содержит впервые публикуемые в таком объеме мемориальные свидетельства научной и общественной деятельности ученого. Сюда вошли, в первую очередь, статьи и заметки 1920–1950-х гг., позволяющие прикоснуться к тому миру идей, который волновал С.И. Ожегова. Многие из них, к слову сказать, так и остались нереализованными и сохранились в набросках, отдельных тезисах. Еще и поэтому для нас исключительно важно показать эти научные и духовные устремления Сергея Ивановича. И его позиция, не только филологическая, но и гражданская, широта взглядов, корректность оценки языковых явлений здесь выступают весьма определенно, так, что хочется обращаться к публикуемым материалам вновь и вновь. В них немало поучительного!

Из помещенных в книгу документальных источников отметим следующие: предварительные наброски “Словаря революционной эпохи. Историко-культурного справочника” (1920-е гг.), фрагмент статьи “О просторечии (К вопросу о языке города)” (1930-е гг.), заметка “О собирании языковых материалов современного русского языка” (1941 г.), план спецсеминара “Лексика лермонтовской прозы” (1946 г.) отзыв на рукопись книги С.П. Обнорского и С.Г. Бархударова “Хрестоматия по истории русского языка” (1949 г.), материалы к статье “Об ошибках Н.Я. Марра” (1950-е гг.), небольшие, но содержательные и колоритные миниатюры “Слово лингвиста”, “Рассуждение о правильности языка”, “О филологии”, “Заметки о языкознании”, “Неологизмы в русском языке” (1950-е гг.), а также записи профессиональных шуточных слов, употребляемых в авиации (1950–1960-е гг.). Подборка завершается не менее интересными материалами памяти близких друзей – Д.Н. Ушакова и Г.О. Винокура, с редкими эпизодами совместной работы и характеристикой их научной деятельности. Здесь же помещены любопытная заметка С.И. Ожегова и А.А. Реформатского “Заключение по поводу предполагаемой реформы охотничьей терминологии” (1951 г.), а также письмо коллектива сотрудников Института русского языка АН СССР И.В. Сталину (1947 г.).

В книге представлено также обширное эпистолярное наследие ученого: “В кругу друзей” – письма, написанные и полученные им в 1935–1963 гг., а также переписка с зарубежными учеными 1955–1964 гг. Среди корреспондентов – авторов посланий – известные ученые, педагоги, общественные деятели и просто близкие знакомые С.И. Ожегова, люди, интересующиеся родным языком. Это А.А. Реформатский, Г.О. Винокур, С.П. Обнорский, В.И. Чернышев, В.В. Виноградов, С.Г. Бархударов, Б.А. Ларин, Б.В. Томашевский, Р.И. Аванесов, С.Г. Шпет, К.И. Чуков-

ский. Во многом познавательны включенные в книгу фрагменты переписки С.И. Ожегова с читателями “Словаря русского языка” (ответы ученого на их письма).

Интересна переписка С.И. Ожегова и с зарубежными коллегами: Э. Петровичем, Б. Илеком, Б. Пиком, Ван Яо Тином, Б. Унбегауном, А.Н. Бурнашевым, Б. Гавранekom и другими учеными.

Опубликованные мемориальные материалы содержат обсуждение живых научных проблем, ответы на вопросы любознательных читателей, совместные проекты и т.п. Это эпизоды личной жизни и общественной деятельности С.И. Ожегова, который был всегда открыт людям и с радостью дарил им свои знания. Оттого, наверное, так трогательны к искренни их письма.

Книга завершается библиографией трудов С.И. Ожегова и публикаций документальных источников последних лет (самой полной по настоящее время). К изданию приложены редкие иллюстративные материалы: фрагменты писем и мемориальные свидетельства об ученом, уникальные фотографии С.И. Ожегова и его коллег, на наш взгляд, гармонично дополняющие его облик.

О.В. НИКИТИН

“Второй фронт”

А. Н. КОЖИН,

доктор филологических наук

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска без объявления войны, внезапно вторглись на территорию нашей страны. Начались масштабные боевые действия противоборствующих армий на нашей земле, возникло понятие Советско-германский фронт, а для противника он был Восточным фронтом.

Нашей армии пришлось в одиночку вести борьбу с сильным и коварным врагом, обладавшим военным и промышленным потенциалом почти всей Европы. Особенно тяжело было в 1941–1942 годах. Американские компании продолжали поставлять гитлеровской Германии стратегическое сырье даже в 1942 году. Так, через Испанию было поставлено 406 тысяч тонн хлеба, 227 тысяч тонн угля и кокса, 170 тысяч тонн горючего и 1500 тонн резины (Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. М., 1980. С. 28).

Отсутствие второго фронта в Европе позволяло фашистской Германии сосредоточивать основные боевые силы на Восточном, то есть на Советско-германском фронте.

В 1942-м году во время переговоров в Лондоне и Вашингтоне была достигнута договоренность о союзе в войне против гитлеровской Германии. В это трудное время для нашей страны создается антигитлеровская коалиция великих держав – СССР, США, Великобритании. 18 июня 1942 г. Верховный Совет СССР ратифицировал Договор между СССР, Великобританией и США о союзе в войне против гитлеровской Германии. Более того, в коммюнике от 11 июня 1942 года сообщалось, что на переговорах между Англией, США и Советским союзом “достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году”.

Шли дни и месяцы, но союзники не спешили с открытием второго фронта в Европе.

В сообщении Совинформбюро “Два года Отечественной войны Советского Союза” подчеркивалась важность благоприятных условий для открытия второго фронта в 1943 году: “отсутствие второго фронта в Европе спасло гитлеровскую Германию от поражения в 1942 году ... опоздать в этом деле, – значит нанести серьезный ущерб нашему общему делу” (Правда. 1943. 22 июня).

Успехи войск союзников в Африке, действия их авиации по военно-промышленным центрам Германии укрепляли веру в реализацию

союзнических договоренностей. Даже Черчилль в речи на заседании конгресса США вынужден был отметить, что “главное бремя сухопутной войны выносятся русскими армиями”, что мы должны сделать всё, чтобы “в 1943 году снять большую часть бремени, давящего на Россию” (Комс. правда. 1943. 21 мая).

Военные атташе, корреспонденты газет союзников интересовались мнением наших фронтовиков о роли и значении второго фронта. Вот как ответил генерал И.И. Федюнинский иностранным корреспондентам: “Отвечу вам, господа, вопросом на вопрос: что легче – драться с врагом один на один или втроем бить одного врага? Как вы думаете?” – “Конечно, втроем бить врага легче, – озадаченно ответил англичанин” (Поднятые по тревоге. М., 1961. С. 125).

А время шло... Свои боевые действия союзники стали рассматривать в качестве второго фронта (операция в Сицилии летом 1943 г.). Фактически это было “нечто *вроде* второго фронта (...) открытие настоящего второго фронта в Европе (...) значительно ускорит победу над гитлеровской Германией”, – писала Комсомольская правда 7 ноября 1943 года.

Только победным летом 1944 года союзники решили высадиться на севере Франции, и наконец-то они “открыли второй фронт” (Казakov М.И. А мы с тобой, брат, из пехоты. Рига, 1979. С. 84). Открытый союзниками второй фронт в Европе, то есть Западный фронт, полного статуса так и не приобрел. Восточный фронт, то есть Советско-германский, “оставался главным и решающим фронтом всей второй мировой войны” (Варенников В.И. Неповторимое. М., 2001. С. 385).

Вклад нашей страны в разгром гитлеровской Германии вынуждены признать и авторы западных мемуаров. “Россия, – по словам командующего войсками союзников в Нормандии Б.Л. Монтгомери, – приняла на себя всю силу германского удара и выстояла. Мы, англичане, никогда не забудем подвига России” (Горбатов А.В. Годы и войны. М., 1992. С. 437).

Союзнической солидарности, то есть открытия второго фронта, особенно ждали наши бойцы: то, что происходило на Западе до высадки в Нормандии, мы “справедливо отказывались считать настоящим вторым фронтом (...) мы ждали и в отчаянные для нас дни сорок второго года, и тревожной весной сорок третьего, накануне летнего наступления немцев. Ни с какими другими словами за все предыдущие годы не было связано для нас столько обманутых ожиданий, сколько с этими – второй фронт” (К. Симонов. Разные дни войны. М., 1981).

Ожидание начала реальных боевых действий на Западе способствовало возбуждению интереса к поставкам материалов в нашу страну, которые стали осуществляться по ленд-лизу. С конца 1942 г. к нам стали поступать некоторые виды продовольствия. Особенной популярностью пользовались мясные консервы, которые наши воины ста-

ли в шутку называть "вторым фронтом" (Павлов Д.В. Стойкость. М., 1979. С. 141). Таким образом, задолго до открытия союзниками второго фронта в Европе американская консервированная тушенка обрела свое ироническое обозначение (К.С. Москаленко. На Юго-Западном направлении. М., 1975. Кн. 2. С. 357).

Это прозвище тушенки впервые я услышал в апреле 1943 года в лесах севернее Вязьмы, где формировалась 10-я гвардейская армия. То было трудное время для наших передовых подразделений. Весенняя распутица превратила зимние дороги в непроезжие топи. Нашему подразделению было поручено обеспечивать продвижение автотранспорта с боеприпасами и продовольствием к переднему краю обороны. В этих условиях пришлось прокладывать гати, – рубить лес, переносить на своих плечах бревна и из них строить настил, по которому проталкивали полуторки с грузами для передовой. К концу дня ребята выбивались из сил, а долгожданный ужин обычно был скудным: с жадностью гремели ложки в котелках, где плескался жиденький супец из горохового концентрата, прозванный брикетником. На завтрак и на обед было то же самое да сухарь в придачу.

Весенняя распутица ударила и по тягловой силе: от бескормицы слабели и падали кони. Иногда от пристреленной лошади кое-что перепало и в котелки расторопных ребят.

В минуты перекура, в обеденное время и вечером, а также и на политинформациях довольно часто звучала надежда на скорое открытие второго фронта.

Как-то в полдень на нашем участке гати появился всадник, он направился в сторону тех, кто суеился возле павшей лошади. Вскоре до нас долетел возглас: "Командира ко мне!" Мы услышали слова лейтенанта:

– Товарищ полковник!..

– Молчать! Где порядок?! До чего дошли! Свежуют павшую лошадь!..

Наш командир замялся, что-то сказал, но грозный всадник продолжал:

– Хорош командир! Вы даже не знаете, что перед вами член Военного Совета.

К члену Военного Совета обратился парторг и разъяснил, почему ребята оказались возле павшей лошади. После этого грозный всадник тронул своего коня и на ходу отчеканил в сторону командира: "Пришлите старшину!"

Вечером в котелках был опостылевший брикетник, но в придачу выдали по банке американской тушенки. Старшина, раздававший иноземные консервы, радостно повторял: «Вот и до нас дошел "второй фронт"... ешьте, ребята».

Фраза старшины засверкала в меткой речи солдат: на обед дали "второй фронт", опять дали по кусочку "второго фронта", по баночке "второго фронта" могут дать ...

Ироническое название американской тушенки даже приглушило содержательность военно-терминированной номинации: «Как-то утом из своей землянки услышал возбужденные крики. Чаше других повторялись слова: “Второй фронт... Второй фронт!..” – Тьфу! Разо- рались, черти! – в сердцах вырвалось у меня. – Наверно, тушенку аме- риканскую подвезли. – Да, нет, – улыбается адъютант. – Это радисты перехватили сообщение о высадке союзников в Нормандии. – Нако- нец-то решились» (Стученко А.Т. Завидная наша судьба. М., 1964. С. 215).

Весной этого же года в наше подразделение прибыло пополнение. Маршевики были хорошо экипированы. На них были новенькие гим- настерки, брюки и ботинки, от которых было трудно отвести зачаро- ванные взоры. Эти ботинки были на платформе (на толстой подмет- ке), имели широкий рант и оранжевый шов, – все это дополнялось яр- костью светложелтой кожи. Ребята с завистью смотрели на обувь вновь прибывших, но после первого же броска к передовой от этих “пижон- ков”, как их окрестили бывалые солдаты, пришлось избавляться. На привалах эти “сухоступы” приходилось подсушивать, иногда прожигая до дыр. Ин- тендантские работники свели к недоразумению курьезность внешне эф- фектной обуви: она попала к нам по ленд-лизу, хотя предназначалась для солдат иного театра военных действий – для войск африканского корпуса, где толстая подметка и пористая кожа ботинок предохраняет ногу от жара песков пустыни. За модной иноземной обувью также закрепилось ирони- ческое обозначение “второй фронт”.

Именование “второй фронт” получили и танки союзников. В фев- рале 1943 года боевые действия наших подразделений поддерживала 153-я танковая бригада, укомплектованная американскими танками “М-3С”. Но эти танки были неуклюжими, малоподвижными, застре- вавшими в снегу, поэтому представляли собою хорошие мишени для немецкой артиллерии; танковая атака поддерживающей бригады в боях за Гжатск окончилась печально: сорок танков вспыхивали как свечки на подступах к первой траншее противника. Эти машины были тяжелыми (25 тонн), с высоко поднятой цилиндрической башней (вы- сота почти 4 метра), с бензиновым двигателем. Однако в то время фронтовики были рады и таким машинам, они говорили “спасибо со- юзникам”, но при этом добавляли “плохие это танки” (Великолепов Н.Н. Огонь ради победы. М., 1977. С. 84). Юмористические названия “вто- рой фронт”, “прощай родина” давались и другим танкам союзников. На вопрос американского атташе о боевых свойствах танков “Ма- тильда” и “Валлейнтайн” генерал И.И. Федюнинский сказал следую- щее: “Где-нибудь в Африке {...} они вполне себя оправдают {...} гусе- ницы у ваших машин узкие, поэтому им трудно приходится {...} ваши машины излишне комфортабельны” (Поднятые по тревоге. М., 1961. С. 124).

Представляет интерес замечание героев в произведении К. Симонова “Солдатами не рождаются”: «Какие “валлейнтайны”? – Танки ихние ... Дерьмо – рядом с нашей “тридцать-четверкой”. Один снаряд в него влепят – и горит как свечка. Одним словом, прощай, родина!».

Думается, что в наименовании “второй фронт” (объеме понятия и характере предметной отнесенности) – биение пульса огненных лет и отсветы мира окопной жизни.